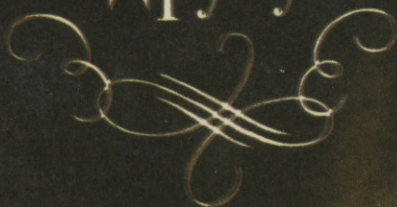


*Наталья Баранская*

Портрет,  
подаренный  
другу





*Наталья Баранская*

Портрет,  
подаренный  
другу



ЛЕНИЗДАТ • 1982

84.3P7

Б24

**Баранская Н.**

**Б24** Портрет, подаренный другу: Очерки и рассказы о Пушкине; Повесть.— Лениздат, 1982.— 224 с., ил.

Очерки и рассказы Н. Баранской посвящены жизни А. С. Пушкина, его друзьям и близким.

Книга содержит богатый документальный и мемуарный материал, в нее включены также письма, стихи и рисунки поэта.

**Б**  $\frac{4702010200-113}{M171(03)-82}$  322—82

**84.3P7**

© Лениздат, 1982

## ДВА СЛОВА О КНИГЕ И О СЕБЕ

Здесь собраны очерки и рассказы о Пушкине — проза документальная и художественная. Впрочем, нужно ли обозначать жанр? В любом из них я стремилась создать образ живого Пушкина.

Увидеть, ощутить его через его письма, портреты, узнать о нем от его современников было моим настоящим желанием в те годы, когда я участвовала в создании нового музея поэта в Москве и строила его экспозицию (1958—1966).

Но писать о Пушкине я смогла, только когда начала писать прозу вообще. Мой писательский дебют — два рассказа и повесть «Неделя как неделя» — состоялся в журнале «Новый мир» в конце 1960-х годов. Первые очерки из жизни поэта были опубликованы в 1970 году, они вошли в эту книгу наряду с новыми, измененные и дополненные. Рассказы о портретах написаны на основе изучения иконографии поэта и моих публикаций, сделанных в 1966—1967 годах.

Прошло время, прежде чем я смогла попытаться свободно, оторвавшись от документов эпохи, воссоздать в воображении образ Пушкина и близких к нему людей. Так появилась повесть «Цвет темного меду» (1977 г.) и рассказ «У Войныча на мельнице».

В очерках из жизни поэта много его писем и стихов. Письма Пушкина потрясают искренностью, простотой, открытостью, а без стихов нельзя представить жизни поэта — его душевного состояния, настроения. Обыкновенное и необычное, обыденное и чудесное — вот жизнь гения, непостижимая и лишь чуть приоткрытая нам.

Я старалась не резать стихи Пушкина, а по возможности давать их полностью. Хотелось, рассказывая о жизни поэта, напомнить строки, которые только родились — вот тут, сейчас, в этот день или год.

Хочу надеяться, что все, включенное в эту книгу, поможет читателю увидеть Пушкина — живого среди живых современников.

*Наталья Баранская*

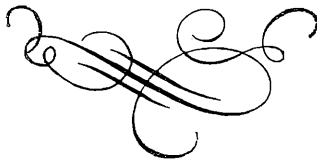
# I

Детство поэта

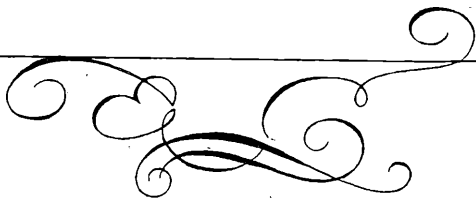
•  
Ссылка на Юг

•  
Три года в Михайловском

•  
Рассказы о портретах



## МАЛЬЧИК С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ



— Скажите, у мальчика на портрете карие глаза? Фотография, которую мы рассматриваем, не цветная, черно-белая.

— Нет, у мальчика глаза голубые.

— Почему же мне запомнились карие?

Действительно, почему? Одна из загадок, которые придется отгадывать, одна из многих задач, которые предстоит решить.

Но давайте обо всем по порядку.

Уголок комнаты, обставленной старинной мебелью. Восьмиугольный столик на гнутых ножках, на нем подсвечник с полусожженной свечой, несколько книг и портрет-миниатюра в рамке карельской березы. На портрете изображен маленький мальчик, у него светлые вьющиеся волосы, тщательно причесанные, приглаженные, и голубые глаза. Взгляд живой, быстрый, губки пухлые, верхняя чуть подлинней.

Этот ребенок — Пушкин в возрасте трех — трех с половиной лет.



А уголок комнаты — один из стендов Государственного музея А. С. Пушкина.

В 1950 году театр имени Ермоловой был на гастролях в Ленинграде. Среди других спектаклей шел и «Пушкин» по пьесе А. Глобы. Пушкина играл народный артист Всеволод Якут, играл вдохновенно, горячо, интересно. Както в антракте за кулисы пришла высокая красивая женщина. Она была восхищена игрой артиста, она принесла ему драгоценный подарок, семейную реликвию — миниатюрный портрет Пушкина-мальчика, вставленный в старую овальную рамку с отбитым краем. К портрету была приложена записка: «Здесь написано все о нас, о семье, владевшей портретом».

Всеволод Семенович был тронут и вместе слегка растерян. Он пытался отказаться от ценного дара: «Такой вещи место в музее». Однако дарительница очень просила принять портрет. Она оставила сверток, попрощалась и ушла, — звенел звонок, антракт кончался.

А когда Якут вернулся со сцены — взволнованный, утомленный — и стал рассматривать миниатюру, пробежав взглядом по записке, увидел, что в ней нет фамилии дарительницы, он же запомнил только имя-отчество — Елена Александровна. Запомнилась ее просьба — не публиковать портрет. Он удивился, но о причинах не успел спросить, а может, неловко было спрашивать.

Так миниатюра осталась у Всеволода Семеновича. Посмотрели ее специалисты, поговорили о ней, одни сказали «похож», другие — «непохож». А потом о портрете стали забывать.

Но вот в Москве открывается новый музей Пушкина. Якут просит принять от него в дар детский портрет поэта. Миниатюра в фондах музея. Теперь с портретом надо работать — узнать его историю, установить подлинность. На музейном языке это называется «атрибуция портрета». Детским портретом Пушкина занималась я, результа-



*А. С. Пушкин в детстве. Миниатюра неизвестного художника.*



*А. С. Пушкин в детстве. Портрет в зеркальном изображении.*

ты моей работы были опубликованы вместе с репродукцией портрета в 1966 году\*.

А как же просьба владелицы миниатюры, она ведь не хотела публикации?

Да, первым долгом необходимо было разыскать дарительницу и узнать — почему она просила не публиковать портрет. Надо было проверить все, что написано в записке, надо было сравнить детский портрет с другими портретами Пушкина. Очень многое надо было сделать. Обо всем этом я и хочу рассказать. Между прочим, это самая обычная музейная работа. Очень увлекательная работа.

Прежде всего я внимательно прочитала записку, приложенную к портрету. Не старинную записку выцветшими чернилами на бумаге с водяными знаками, а вполне современную машинопись. Без даты. С подписью черниль-

---

\* Наука и жизнь, 1966, № 3.

ным карандашом «Ек. Гамалея (рожд. Чаплина)». Вот эта записка с некоторыми сокращениями.

Озаглавлена она так: «Биография семьи, в которой хранится миниатюра А. С. Пушкина».

«В начале прошлого столетия на Пресненских прудах в г. Москве в собственном доме проживал профессор Мудров Матвей Яковлевич с женой и дочерью Софьей Матвеевной. 15 лет Софья Матвеевна (моя бабка) вышла замуж за Великопольского Ивана Ермолаевича, современника и близкого знакомого А. С. Пушкина.

М. Я. Мудров был первым врачом, посланным для обучения за границу...

Как Великопольский, так и Мудровы были близки семье Пушкиных... Выдающийся по образованию, М. Я. Мудров бывал на литературных вечерах, устраиваемых С. Я. Пушкиным, отцом поэта, и, кроме того, как отличный врач, пользовал семью Пушкиных. К этому именно периоду и относится миниатюра А. С. Пушкина (1803—1804 гг.). Исполнена она была крепостным художником и подарена бабке моей Софье Матвеевне Мудровой матерью поэта Надеждой Осиповной как дочери их врача и друга.

Выйдя замуж за Ивана Ермолаевича Великопольского, С. М. Мудрова получила от своего отца в приданое поместье в Тверской губернии, Старицкого уезда, — село Чукавино, где Великопольские и проживали до своей смерти, передав его потом по наследству своей единственной дочери, а моей матери, Надежде Ивановне Чаплиной, где она и скончалась в 1906 году.

Есть предание, что поэт, проезжая с семьей Вульф в поместье Малинники, находящееся в 10 верстах от Чукавина, заезжал к Великопольским и провел у них ночь. В семье хранился диван карельской березы, на котором нам, детям, запрещалось прыгать, так как на нем спал Александр Сергеевич. Вообще память поэта была для нашей семьи священна. Миниатюра А. С. Пушкина висела

всегда на стене в комнате бабушки С. М., и нам, детям, не позволяли до нее касаться.

Помимо детских воспоминаний, уже взрослой, будучи замужем, я слышала от бабки моей Софьи Матвеевны, дожившей до глубокой старости, что эта миниатюра действительно А. С. Пушкина и как она к ней попала. Миниатюрой у нас в семье чрезвычайно дорожили. Известный историк и пушкинист Модзалевский, неоднократно бывавший в Чукавине у моей матери, очень просил мою мать продать ему эту миниатюру, а также письма поэта к Великопольскому, но моя мать не согласилась...

Дед мой, И. Е. Великопольский, был незаурядной личностью. Всесторонне образованный, он живо интересовался литературой, музыкой, писал стихи и в то же время был страстным игроком в карты (играл и с Пушкиным)... Мать деда была рожденная Лобачевская, дочь известного профессора математики Казанского университета, ныне носящего его имя.

Мать моя, Надежда Ивановна, единственная дочь Великопольских, вышла замуж за Н. А. Чаплина, который был «принят в дом» поместья Чукавино... и умер в 1867 году, оставив мою мать вдовой с 9 детьми. Я родилась через пять месяцев после смерти отца в том же 1867 г.

Покойный Модзалевский вел переписку с моей матерью, широкообразованной женщиной... Думаю, что эта переписка сохранилась у его сына. В свои наезды в Чукавино Модзалевский интересовался и много слышал преданий от моей матери о семье Великопольских и Мудровых. Все вышеизложенное лично мне известно от моих близких: бабушки Софьи Матвеевны Великопольской, которой была подарена миниатюра матерью поэта, и матери моей Н. И. Чаплиной.

Что же касается до близких отношений А. С. Пушкина к семье Великопольских, то это исторически известный факт.

*Ек. Гамалея (рожд. Чаплина)».*

Записка давала сведения о семье, хранившей портрет, в основном о современниках Пушкина, о следующем поколении, а мне надо было прежде всего узнать о дарительнице. «Ек. Гамалея» — это не она. «Ек.» может означать только Екатерина. И возраст другой. Значит, родственница. Может, и фамилия та же. Прошу адресный стол Ленинграда дать мне справку за несколько лет: по каким адресам проживала или проживает Гамалея Екатерина, год рождения 1867, или Гамалея Елена Александровна, год рождения неизвестен. И еще, взяв телефонную книгу, звоню московским Гамалеям, в надежде найти родственников. Но все эти розыски ничего не дают.

Сообщила о своих неудачах Всеволоду Семеновичу, и он обещал обратиться к своим ленинградским друзьям, которые могут помнить дарительницу.

Тем временем я занялась запиской. Семейное предание, конечно, не документ в строгом смысле слова. Даже при первом прочтении замечаешь неточности и противоречия. Но отказываться от предания нельзя. Вероятно, чтобы оценить его достоверность, надо прежде всего познакомиться с семьей-хранительницей.

Итак, семья Мудровых — Великопольских. Что мы можем узнать о них помимо записки?

Об Иване Ермолаевиче Великопольском — современнике Пушкина, посредственном поэте, яростном игроке в карты — есть работа Б. Л. Модзалевского, написанная на основе семейного архива, переданного ученому дочерью Великопольского Надеждой Ивановной Чаплиной.

В работе Модзалевского содержатся сведения и о Мудрове. Но их немного. Поэтому я обращаюсь к работам о знаменитом медике. Первая — «Краткое жизнеописание славного московского врача Матвея Яковлевича Мудрова» — принадлежит его ученику Петру Ларионовичу Страхову. Затем следуют «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета за 1755—1865 гг.» и более поздние работы. Еще позже я познако-

милась с архивом Великопольских, хранящимся в Пушкинском доме (Институт русской литературы АН СССР) в Ленинграде.

После всего прочитанного — опубликованного и неопубликованного — я снова вернулась к записке. Надо было разобраться, что из рассказанного в ней подтверждается, а что не находит подтверждения в других источниках.

Будем говорить сначала о том, как соприкасались Мудровы и Великопольские с Пушкиным и Пушкиными. В записке мы читаем:

«...как Великопольский, так и Мудровы были близки семье Пушкиных. Известно, что детство поэта до его поступления в Лицей протекало в Москве. Выдающийся по образованию, М. Я. Мудров бывал на литературных вечерах, устраиваемых С. Л. Пушкиным, отцом поэта, и, кроме того, как отличный врач, пользовал семью Пушкиных...

Что же касается до близких отношений А. С. Пушкина к семье Великопольских, то это исторически известный факт».

Разберемся в этом.

Биографы Мудрова называют тех, с кем он общался в Москве, кого лечил, у кого бывал. Мудров был дружен с Иваном Петровичем Тургеневым и его сыновьями — Андреем, Александром и Николаем. Он был знаком с Батюшковым, Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским, В. Л. Пушкиным. Он встречался с ними у Тургеневых, дом которых был одним из культурных центров Москвы. Он их лечил.

Родители поэта, Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины, входят в этот круг. Дмитриев, Ал. Тургенев, Карамзин, Батюшков, Жуковский — частые гости в их доме. Трудно предположить, что, постоянно общаясь со всеми этими людьми, Пушкины как-то миновали Мудрова.

Популярность Мудрова как врача росла с каждым го-

дом. Он начал свою врачебную деятельность еще студентом университета, который окончил в 1800 году. В 1801-м Мудров уезжает в Петербург, а затем за границу. Возвращается в Москву лишь в 1808 году. Теперь он — крупный ученый, преподаватель медицинского факультета. В 1812 году — «первое медицинское светило в Москве». У него лечилась «вся Москва». Вряд ли Пушкины составляли исключение. Мудров был домашним врачом многих знатных фамилий, в частности Голицыных, к которым он наезжал каждое лето в их имение Большие Вяземы. Пушкины были соседями Голицыных. Каждое лето, с 1805 года, они жили в Захарове, имении М. А. Ганнибал, и по воскресеньям и праздникам всей семьей ездили в вяземскую церковь. В страшные дни 1812 года, когда война надвинулась на Москву, Мудров выехал с преподавателями и студентами университета в Нижний Новгород. Туда же едет почти весь московский «свет». Едут родители и дядя Пушкина (сам он в это время в Лицее, в Царском Селе). Вероятно, в трудных условиях эвакуации — неустройство, теснота, тревога — москвичи, оказавшиеся в чужом городе, еще более сблизились.

Так первая часть семейного предания — знакомство Пушкиных с Мудровыми — подтверждается при обращении к разным источникам.

Другое дело — отношения самого Пушкина с Великопольскими. Вопреки записке можно предполагать, что у Пушкина с семьей Великопольских никаких отношений не было. Короткая история общения Пушкина с И. Е. Великопольским относится к 1826—1828 годам.

Была встреча в Пскове в 1826 году, чтение стихов, игра в карты, проигрыш Ивана Ермолаевича, несколько дружеских полушутливых писем. Одно из них Пушкин начинает стихами:

С тобой мне вновь считаться довелось,  
Певец любви, то резвый, то унылый;

Играешь ты на лире очень мило,  
Играешь ты довольно плохо в штосс.

А в 1828 году произошел инцидент, закончившийся ссорой. Пушкин высмеял в стихах сочинение Великопольского «К Эрасту» («Сатира на игроков»). Стихи были напечатаны в «Северной пчеле». Обиженный Великопольский ответил тоже колким стихотворением, в котором намекал на то, что Пушкин проиграл в карты главу своего романа («Глава „Онегина” вторая съезжала скромно на тузе»). Эти слова задели Пушкина. Он счел нужным объяснить в письме, внешне корректном, но по сути язвительном и неприязненным. Оно было последним в этой короткой переписке.

Данных о продолжении знакомства нет. И хотя Пушкин бывал в начале 1830-х годов в тех местах Тверской губернии, где находилось имение Великопольских, трудно представить, чтобы он заезжал в Чукавино.

Оценивая достоверность семейного предания по записке Е. Гамалея, мы не должны забывать, что имеем дело с записью этого предания, сделанной довольно поздно.

Хотя записка не датирована, но можно приблизительно определить время ее написания — не раньше 1928 года: в ней сказано «покойный Модзалевский», а Б. Л. Модзалевский умер в 1928 году. В это время Е. Гамалея 61 год. Ее мать, от которой она слышала о портрете, умерла в 1909 году. Значит, прошло не менее двадцати лет, пока история портрета была записана. Неудивительно, что в изложении предания легко обнаружить неточности, ошибки. Что-то несущественное упомянуто, а кое-что важное упущено. Так, указывая даты смерти своих родителей, Гамалея ошибается на два-три года; не знает, когда родилась, вышла замуж и умерла ее бабка, Софья Мудрова, считает Чукавино имением Мудрова, а это — родовое имение Великопольских; говорит, что мать Великопольских урожденная Лобачевская, тогда как ее девичья фамилия



Болховская, а знаменитый математик Н. И. Лобачевский — муж сестры Великопольского.

Все это говорит о том, что Е. Гамалея не очень хорошо знает историю своей семьи. Ясно, что она не читала, а может, и не знала о биографическом очерке, написанном Модзалевским. Достаточно было познакомиться с ним, и можно было избежать ошибок, многое уточнить.

Можно подумать, что я недовольна и упрекаю автора записки? Напротив, я довольна. Значит, рассказанное в записке не выдуманно, не реконструировано по каким-то материалам, а просто записано, как запомнилось по рассказам старших. Однако то, что хранится в памяти нескольких поколений, не может отличаться большой точностью. Кое-что должно было утратиться.

Выпало из предания, например, очень существенное: когда и при каких обстоятельствах мать поэта подарила портрет своего знаменитого сына Софье Мудровой-Великопольской. Придется искать ответ на этот вопрос помимо записки. Но об этом потом.

А сейчас займемся самым главным — портретом.

Атрибуция портрета — это наука и не наука. Это не только знания, но и меткий глаз, интуиция.

Первая встреча с портретом, который надо определить, всегда самая волнующая. Первое восприятие — самое яркое и сильное. «Он» это или не «он»? Узнаёшь или не узнаёшь?

Но просто «узнать» мало — надо еще и доказать. И вот, после первого взгляда на портрет, после первого цельного впечатления наступает пора, когда надо заняться частностями, рассмотреть все детали, разобрать подробности. Тут уж мало ответить на вопрос «похож или непохож», а надо сказать, чем похож.

Кстати, этот вопрос — похож ли? — коварный вопрос. Одни говорят «похож», другие — «непохож». Поэтому не-



*А. С. Пушкин. Портрет работы В. Тропинина.*

Но почти все портреты Пушкина, во всяком случае все самые известные и бесспорные, созданы во второй половине 1820-х — начале 1830-х годов, то есть когда Пушкину было 30 лет. А ребенку, изображенному на портрете, три — три с половиной года.

Можно ли сравнивать эти портреты? Сопоставлять детское лицо, еще не оформившееся, с определенными, сложившимися чертами взрослого?

Специалисты-антропологи считают, что характерные черты обнаруживаются уже в детстве. Только ребенку свойственна мягкость, округлость черт, иное сочетание величины лица и объема головы.

Давайте вспомним внешность Пушкина. Посмотрим на два его прижизненных портрета, написанные знаменитыми художниками — Василием Андреевичем Тропининым и Орестом Адамовичем Кипренским, а потом сравним с ними детский портрет.

обходимо тщательно сличать, сопоставлять с известными и бесспорными портретами.

Облик Пушкина знаком всем. Его характерную внешность легко запомнить. Сохранились прижизненные портреты поэта, исполненные художниками. Множество раз он сам рисовал свой профиль на полях рукописей, в альбомах своих приятельниц. С большой выразительностью запечатлел скорбный облик Пушкина в конце его жизни малоизвестный художник Линева. С лица умершего скульптор С. И. Гальберг снял гипсовую маску.

Тропинину Пушкин позировал зимой 1826/27 года, когда жил в Москве у своего друга С. А. Соболевского. По его желанию Пушкин был изображен в халате и с заветным перстнем на большом пальце правой руки. Но домашний костюм не делает портрет обыденным, будничным. При первом же взгляде вас поражает духовное богатство и сила, выраженные в лице поэта. Художник осветил почти все лицо, повернутое к нам в три четверти. Большой чистый лоб не закрыт волосами, откинутыми назад, ноздри будто приподняты дыханием, губы готовы разомкнуться, большие глаза, полные света, видят что-то недоступное нам. Лицо Пушкина полно жизни и мысли.

«Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно (т. е. в совершенстве. — Н. Б.) схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта», — писал о портрете Тропинина в майском номере журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевой.

Художник не стремится смягчить «африканское» в лице поэта. И в портрете, и в этюде к нему вы видите ганнибаловские черты, переданные ему матерью: выпуклый рот с полными губами, слегка выдвинутую вперед нижнюю часть лица, верхнюю губу, чуть перекрывающую нижнюю, нос с открытым вырезом ноздрей и прижатым кончиком.

Портрет Кипренского написан почти одновременно с тропининским. Он отличается сдержанностью и поэтич-



*А. С. Пушкин. Портрет работы О. Кипренского.*

ностью. Пушкин на портрете Кипренского очень спокоен. У него тихий задумчивый взгляд, грустная складка губ. Скрещенные на груди руки — любимая поза поэта — подчеркивают его замкнутость в себе, сосредоточенность. Художник избегал всяких внешних выигрышных приемов: эффектного жеста, ракурса, поворота. Только выражение лица, необыкновенных глаз передает поэтическую суть и творческую силу.

И этот портрет отличался большим сходством с оригиналом, это отмечали многие современники. Хотя Кипренский несколько сгладил характерные ганнибаловские черты. Сам Пушкин говорит в послании к художнику:

Себя, как в зеркале, я вижу,  
Но это зеркало мне льстит.

Два портрета поэта. Схожие и несхожие. Почему? Два разных художника, два взгляда на одного человека, два представления о нем. Два художника — две разные кисти. Но не только это. Дело и в самой внешности поэта.

«Физиогномия Пушкина... так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие». Это говорит современник, хорошо его знавший. Вот еще впечатления других:

«...Молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой... часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы...»

«Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми и ясными глазами... с белыми блестящими зубами... Он вовсе не был смугл, ни черноволос... а был вполне белокож и с вьющимися волосами каштанового цвета... В его облике было что-то родное африканскому типу... черты лица были у него приятные, и общее выражение очень симпатичное».

В «Словаре достопамятных людей русской земли, составленном Бантышом-Каменским» (издан в 1847 г.), написано о Пушкине со слов родных и близких:

«...Среднего роста, худощавый, имел в младенчестве белокурые курчавые волосы, сделавшиеся потом темно-русыми, глаза светло-голубые, улыбку насмешливую и вместе приятную, носил на умном лице отпечаток африканского своего происхождения, которому соответствовала живость и пылкость характера...»

Итак, внешность живая, изменчивая — всегда отражающая внутреннее, душевное состояние. Внешность оригинальная, неповторимая — сочетание «африканских», южных, черт со светлой, северной, окраской кожи, глаз и волос.

Мы познакомились с двумя портретами поэта, с воспоминаниями знавших его людей. Теперь нам легче «увидеть» его.

Но вернемся к детскому портрету.

Посмотрим на него рядом с портретами работы Тропинина и Кипренского. Для большей наглядности «повернем» изображение ребенка при помощи фотографии влево. (На обоих знаменитых портретах лицо Пушкина повернуто на три четверти влево.)

Сначала сопоставим детский портрет с этюдом и портретом работы Тропинина.

У ребенка вы увидите характерные черты Пушкина — удлиненную верхнюю губу, ее рисунок, форму носа. Только в детском портрете эти черты смягчены, выражены слабее.

Антрополог М. М. Герасимов, приглашенный музеем на консультацию, обращает внимание на линию смыкания губ. Она определяется в самом раннем детстве и с возрастом не меняется. Указывает он и на другие черты сходства с учетом возраста. Широкий и выпуклый лоб (он больше по отношению к лицу ребенка); удлиненный разрез глаз (несколько более круглых у ребенка); рисунок

бровей (у ребенка более дугообразных и высоких); рисунок подбородка (у ребенка более мягкого) и, наконец, форму уха — крупного, не прижатого к голове.

Теперь посмотрим на волосы. Вглядитесь получше: у малыша очень густые, вьющиеся волосы. Сейчас они расчесаны и приглажены. Однако видно, как вьются отдельные волоски, как пружинят и приподнимаются отдельные прядки. В детстве у Пушкина были, как вы знаете, белокурые волосы. С возрастом они потемнели. На портрете Тропинина волосы светло-каштановые, густые, вьющиеся.

Глаза у мальчика голубые, светлые.

Положим миниатюру рядом с портретом работы Кипренского. В этом портрете меньше выступает характерное ганнибаловское. Но сравните верхнюю часть лица — лоб, брови, глаза — сходство несомненно.

Возьмем третий портрет — рисунок Жана Вивьена (1826 г.). Он сделан сразу же после возвращения Пушкина из ссылки. Портрет понравился, художником было сделано повторение. Пожалуй, в портрете Вивьена не менее, чем в этюде Тропинина, видно сходство общего контура головы с головой детского портрета. А из частных особенностей обратите внимание на лоб и форму ушной раковины.

Почему я не начала сравнением детского портрета с гравюрой работы Гейтмана? Ведь изображенный на ней Пушкин ближе всего по возрасту. Гравюра эта была приложена к первому изданию «Кавказского пленника». Книга вышла, когда Пушкин был в ссылке на Юге. В примечании говорилось: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным».

Однако сам Пушкин отозвался о портрете несколько скептически: «...не знаю, похож ли?» (письмо к Гнедичу из Кипринова, 27 сентября 1822 года). Конечно, и в этом портрете мы узнаем Пушкина, хотя у него здесь более

прямой нос, не такие выпуклые губы, не такой круглый, как на других портретах, лоб. Может быть, портрет рисован по памяти, а не с натуры?

Мы сравнили детский портрет с известными прижизненными портретами Пушкина, отметили сходство, подчеркнули все характерное. Теперь хочется отвлечься от частных и взглянуть на весь облик изображенного здесь ребенка. Выделяются глаза — хорошо передан их блеск, их пытливый и живой взгляд. Они освещают все лицо, придают ему осмысленное, чуть удивленное выражение. Воспоминания современников сохранили такую живую зарисовку Пушкина в детстве: «...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу чтобы приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались».

Итак, все сопоставления и сличения приводят к выводу, что в детском портрете присутствуют все основные черты внешности Пушкина, не имеющие, естественно, еще законченности и определенности зрелого возраста.

К такому же выводу пришли во Всесоюзном научно-исследовательском институте криминалистики, куда отдавали детский портрет и репродукции со всех прижизненных портретов поэта. Специфика их методов исследования, более точных, опирающихся на документальный материал, на фотографию, не позволила криминалистам прийти к



*А. С. Пушкин. Этуд работы В. Тропина. Выполнен маслом на доске.*

твердому заключению об идентичности изображений ребенка и взрослого Пушкина. Однако они установили еще ряд особенностей, подтверждающих сходство (их заключение приведено полностью в моей статье).

В записке Е. Н. Гамалея сказано, что портрет сделан крепостным художником в 1803—1804 годах. Верно ли это? Ведь в записке немало ошибок. Дата требовала уточнения. Мне казалось, что вернее всего определит возраст ребенка опытный детский врач. Я пригласила к маленькому «пациенту» известного специалиста по раннему возрасту Г. И. Смирнова. Он сказал, что ребенку на портрете три — три с половиной года. Значит, портрет сделан в 1802—1803 годах. Знаток миниатюры, искусствовед В. С. Попов относит ее по стилю изображения к самому началу века.

«Этот портрет сделал пожилой мастер — не первоклассный художник, но достаточно опытный и умелый, — сказал Валентин Сергеевич, рассмотрев миниатюру в лупу. — Об этом свидетельствует и живопись на металлической пластинке, и манера письма — ударами кисти. Все это говорит о традициях восемнадцатого века. Вот почему надо думать, что миниатюра исполнена немолодым художником».

Наконец через ленинградских знакомых Якута удалось узнать фамилию и адрес женщины, подарившей ему портрет. И я еду к ней. Елена Александровна Чинова уехала из Ленинграда несколько лет назад. Она вышла на пенсию и поселилась в тихом городке Псковской области.

Вот я у нее в комнате. На окнах цветы, а в окна заглядывают ветки жасмина из сада. Познакомившись, мы сразу же выяснили первый вопрос: кто такая Е. Гамалея? Оказалось — мать Елены Александровны. Гамалея — ее



фамилия по второму мужу. Екатерина Николаевна написала записку к портрету — все, что могла вспомнить, — за несколько лет до войны.

Мы говорим и рассматриваем фотографии. Красивая женщина в шляпе с пером — Екатерина Николаевна. На старой выгоревшей фотографии в рамке на стене — представители четырех поколений семьи. Сухая старушка с круглой головой, в кружевной наколке, — Софья Матвеевна Мудрова. Вот уж не ждала, что встречу с ней! А грузная пожилая женщина с властным лицом — Надежда Ивановна Чаплина, бабка последней владелицы портрета. Елена Александровна вынимает групповую фотографию из рамки, и я читаю на обороте: «Самой младшей из всех моих детей Екатерине Николаевне... урожд. Чаплиной в память о 4-х поколениях семьи. Мать моя; Софья Матвеевна Великопольская, урожд. Мудрова, 77 л. Я, Надежда Ивановна Чаплина, урожд. Великопольская, 59 л. и 2 м. Старшая моя дочь... и ее третий сын... Сделано в Твери, фотогр. Элленгорн 14 декабря 1891 года.

*Надежда Чаплина».*

Если бы все в этой семье имели склонность к таким подробным и точным аннотациям!

А вот совсем другие фотографии: множество любительских снимков, на которых я узнаю Елену Александровну... в форме военфельдшера. Вот она на фоне палаток полевого госпиталя, вот среди раненых, вот вместе с товарищами-фронтовиками. Так открывается еще одна страничка «биографии семьи», никем не написанная.

Е. А. Чицова была на фронте с начала и до конца Великой Отечественной войны. Уходила на фронт в одно время с мужем и сыном. Оба они погибли под Ленинградом. Мать умерла во время блокады. Да, много тяжелых воспоминаний связано у Елены Александровны с родным городом, из которого она решила уехать.

«Портрет маленького Пушкина, — рассказывает Елена Александровна, — я знала всегда. Раньше — у бабушки в

имении, где мы проводили летние месяцы, а после ее смерти — у мамы. Прабабка и бабка жили в деревянном флигеле. У Надежды Ивановны комната была разделена пополам портьерой, за которой стояла кровать. В передней части комнаты висели портреты — несколько миниатюр в разных рамочках, среди них и миниатюра Пушкина... Рамка миниатюры пострадала в нашей квартире в Ленинграде, как многие другие вещи. В дом попал снаряд, разрушилась стена между комнатами, некоторые вещи были совсем разбиты...»

Так вот почему отбит край у овальной рамки! И в этом тоже история портрета, героического города, его людей.

Наконец я задаю вопрос: почему Елена Александровна просила не публиковать портрет?

Чижова рассказывает, что в 1949 году она отнесла портрет вместе с запиской в Пушкинский дом в Ленинграде. Через несколько месяцев портрет ей вернули, сказав, что не удалось установить его подлинность. Сомнение в подлинности смутило Елену Александровну. Она не могла ничего прибавить к тому, что знала о миниатюре от матери и бабки, а этого, оказывается, недостаточно. Значит, публиковать портрет нельзя.

«Но подарить его я могла? Когда Всеволод Якут так прекрасно, на мой взгляд, исполнил роль Пушкина в спектакле,— продолжает Чижова,— мне захотелось подарить ему этот портрет. Не верить тому, что говорила моя мать, я не могла, да и какой смысл был ей что-либо выдумывать?»

Суровые законы исследования требовали от меня выяснения всех обстоятельств до конца. Что означали слова «не удалось установить подлинность»? Что делали с портретом в Пушкинском доме? Что они думают о портрете?

Еду в Ленинград, в Пушкинский дом, везу фотографию с миниатюры. Показываю ее заведующей фондами

Литературного музея при Институте русской литературы Е. А. Ковалевской. Она вглядывается внимательно — да, да, она помнит миниатюру, ее приносили к ним в послевоенные годы, но она была отклонена. Причина? Надо вспомнить, посмотреть в делах закупочной комиссии.

Просматриваем протоколы и выясняем, что миниатюра не была приобретена из-за «иконографической недостоверности». К сожалению, более подробных записей нет. Узнаю, что портрет не изучался, исследований не проводили, заключение основывалось только на основании осмотра, общего впечатления.

Ковалевская еще раз всматривается в фотографию с миниатюры. Вот тут и происходит между нами диалог, с которого я начала этот рассказ.

«У мальчика на портрете карие глаза?» — «Нет, у мальчика глаза голубые».

Но Ковалевская сомневается: ей запомнилось, что глаза карие. Ее настойчивость на меня действует. Затаенно начинает расти тревога: а вдруг глаза были карими?.. Постыдная подозрительность! Но что делать? Нельзя отворачиваться от сомнений, их надо разрешать.

Есть такой метод исследования живописи — ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами. Он позволяет специалистам изучить структуру живописи: увидеть, как положены краски, узнать, не вносились ли позднейшие изменения, производилась ли реставрация. Отправляем миниатюру на исследование. Никаких позднейших записей. Кроме кисти художника, писавшего портрет, ничья кисть не прикасалась к нему. Мальчик — с голубыми глазами!

Однако путаница с цветом глаз на этом не кончилась. Кто видел подлинные портреты Пушкина, конечно, знает о светлых его глазах. Но многие читатели и почитатели поэта имеют неточное представление о его внешности. Объясняется это просто. Лицо поэта знакомо большинству по однотонным репродукциям с его портретов в собраниях сочинений. Все помнят характерные черты Пушкина,

знают о его предках — Ганнибалах. Воображение подсказывает: глаза и волосы поэта должны быть темными.

Так решил и художник-фотограф, который делал репродукцию к статье о портрете. Сфотографировал, но в цвете не показал, и я увидела цветную репродукцию уже отпечатанной в журнале. Увидела и ахнула — глаза у ребенка карие. Сержусь, огорчаюсь, звоню в редакцию. Фотограф отвечает спокойно: да, он сделал глаза карими, так ведь у Пушкина были темные глаза.

Елена Александровна во вторую нашу встречу — в Москве, в музее, — призналась: «Когда мне сказали, что сомневаются в подлинности портрета, я даже обиделась. Но прошло какое-то время, и я вдруг сама стала сомневаться. Смотрю и думаю: а вдруг не он? Глаза светлые. А у Пушкина были карие».

Вот какие забавные и досадные заблуждения сопровождали изучение детского портрета поэта.

Мы прощаемся с Еленой Александровной, но мое знакомство с семьей, хранившей портрет, на этом не кончается. Оно продолжается в архивах Пушкинского дома. Десятки, сотни писем: Софьи Матвеевны к мужу, его — к ней, старой Мудровой к дочери и зятю — открыли мне жизнь семьи Великопольских. Недолги были первые радостные годы в Чукавине и Москве, когда молодая женщина устраивала свое гнездо. Вскоре начались огорчения. Великопольский, страстный игрок, продолжает играть в карты. Играет азартно, крупно. Все имущество — его, жены, наследство Мудрова — уходит на уплату карточных долгов. Великопольский пускается в невероятные, смешные предприятия, которые сулят большие прибыли, но кончаются ничем. Дома — безденежье, раздоры, беспорядок. Большой каменный дом заброшен, не пригоден для жилья. «Книги и картины гниют по чуланам», — жалуется Софья Матвеевна. Она с детьми ютится в деревянном флигеле.

Письма, литературные труды Великопольского, дело-

вые бумаги бабка Е. А. Чижовой Надежда Ивановна Чаплина передала пушкинисту Б. Л. Модзалевскому. Сохранилось 19 писем Н. И. Чаплиной к ученому. Она обещает разобрать бумаги, которые находились в амбаре (люди заняты на сенокосе и жатве, некому принести ящики к ней во флигель); предупреждает о посланных ему гравюрах, которые просит потом вернуть («Я всем прошлым дорожу»). Наконец она сообщает Модзалевскому: ящики из амбара доставлены в дом, но вместо «бумаг» — писем, документов — в ящиках одна бумажная труха. Потрудились амбарные мыши!

В архив Великопольского вошла часть архива Мудрова: письма, отдельные заметки из практики, рецепты. К сожалению, не сохранились истории болезней «всех до единого из больных, которых он пользовал в продолжение своей 22-летней московской практики», как пишет ученик его Страхов.

Истории болезней Мудров вел по определенной форме. Собранные за год он переплетал в формат справочника-календаря — «Санкт-Петербургского месяцеслова», добавляя из него несколько календарных страниц. Таких переплетенных книг с обозначением года на корешках «было у него более сорока томов, из коих многие имели толщину доброго лексикона».

Великопольский писал в 1856 году, затевая издание трудов своего тестя: «Я сохраняю у себя сокровищницу библиотеки его, в которой имеются и собственные сочинения, печатные и рукописные».

Где же заметки и записи М. Я. Мудрова? Историки медицины этого не знают. Переплетенные в книжечки записи знаменитого врача пропали. Может быть, изгрызены мышами в амбарах и чуланах в Чукавине? А может, вывезенные из имения после революции, затерялись в недрах каких-нибудь библиотек среди похожих по переплетам «месяцесловов»? Тогда есть еще надежда, что будут найдены.

В семейном предании не сказано, когда и где был подарен Софье Матвеевне портрет Пушкина. Подумаем над этим. Дочь Мудрова родилась в 1815 году. В 1831 году, выполняя предсмертную волю погибшего во время эпидемии холеры отца, она вышла замуж за И. Е. Великопольского. Свадьба состоялась 13 ноября в Москве. Молодые отправились в свадебное путешествие в Казань, к родным Великопольского. В январе 1832 года они поселились в доме Мудрова на Пресненских прудах. Первенец их, дочь Надежда, родилась в сентябре 1832 года. Великопольские в первые годы брака жили то в Москве, то в Чукавине. Сохранились два письма от 10 и 17 декабря 1832 года Софьи Великопольской к мужу: она с ребенком и матерью в Москве, а он выехал по делам в Чукавино. Всю зиму 1832/33 года семья проводит в Москве.

Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины после войны 1812 года поселились в Петербурге, в Москву наезжали временами, к родным. В 1832 году они приехали в Москву 17 декабря и прожили здесь до 27 апреля 1833 года (что видно из писем их к дочери, О. С. Павлицевой).

В эти месяцы, вероятно, Н. О. Пушкина и подарила миниатюру Софье Матвеевне. Время и обстоятельства наиболее подходящие: трагическая смерть Мудрова не могла не тронуть всех, кто его знал, единственная дочь его недавно вышла замуж, родила ребенка. Пушкин был в зените своей славы. Всякое его изображение, даже детский портрет, представляло ценность. Надежда Осиповна понимала это.

Однако тогда Софья Матвеевна вряд ли могла оценить этот подарок. Молодая женщина, судя по ее письмам, на все смотрела глазами мужа. Пушкин, вероятно, был для нее лишь соперником Великопольского в поэзии.

Может, дочь Великопольских, Надежда, став взрослой, оценила в полной мере дар Н. О. Пушкиной. Во всяком случае, овальная рамка, в которую была вставлена миниатюра, сделана в 1850-х годах.

Предположение мое о том, когда был подарен портрет, подтвердилось. И вот каким образом. После публикации моей статьи о портрете, в «Калининской правде» появилась заметка известного краеведа Дм. Цветкова (№ 167, 22 июля 1966 г.). Он рассказал следующее.

Летом 1930 года он ездил в Чукавино. Там, на чердаке деревянного флигеля, нашел он несколько книг и связку писем, адресованных Н. И. Чаплиной. Среди книг было первое издание первой главы «Евгения Онегина» — тоненькая книжка, пострадавшая от дождя и сырости, в пятнах и подтеках. Цветков с трудом разобрал сделанную на ней чернилами надпись. Он переписал ее в свою тетрадь, куда заносил все свои находки. Вот эта надпись:

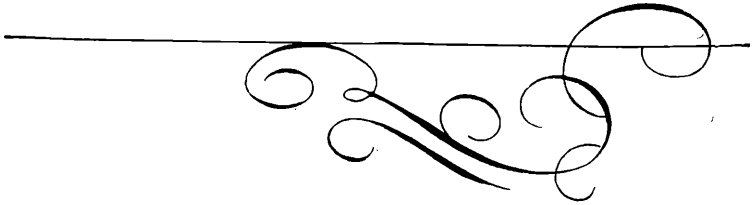
«Эту книжку вместе с портретом своего сына Александра подарила мне пациентка моего батюшки Надежда Осиповна Пушкина.

*С. Великопольская  
Москва, 6 января 1833 г.»*

Чукавинскую находку Цветков отдал в краеведческий музей в Старице. Вероятно, она погибла вместе с другими материалами во время войны.

Такова история детского портрета, долго пребывавшего в неизвестности, чудом уцелевшего в полуразрушенной снарядом ленинградской квартире, трижды менявшего владельцев и наконец попавшего в пушкинские фонды.

## В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ



**И растет ребенок там  
не по дням, а по часам.**

**Х**олодным ноябрьским днем 1802 года по Харитоньевскому, что ведет от Чистого пруда к Черногрязской, двигалась процессия. Впереди, скрипя и колыхаясь, ехали два высоких воза. Поверх больших кованых сундуков громоздились книжные шкафы, диваны, обитые зеленым и синим штофом; столы, столики — с ножками-лирами и ножками-лебедями. А на самом верху раскачивались разномастные стулья — красного дерева, карельской березы с сиденьями из кожи, гобелена или простой набойки. Позади возов с мебелью тянулась дворня, тащила домашний скарб. Тут был и медный, давно не чищенный самовар, и большие белые фарфоровые вазы с синими драконами, и целая башня картонок, и глиняная квашня для теста, и фонарь-ночник дымчатого стекла на бронзовой подставке, и целая связка ухватов и сковородников.

Процессию замыкало большое овальное зеркало, окантованное темным серебром. Его бережно несла милостивая девушка в платочке. В чистом стекле дрожало отражение



серых осенних туч и голых ветвей. Но вот в зеркале появилась крутая крыша с коньком и узкие окна, забранные решетками: хоромы князя Юсупова. Вozы объехали старинный боярский дом с высоким крыльцом, завернули во двор и остановились у большого деревянного флигеля.

Пушкины переезжали на новую квартиру. Уже четвертую за годы жизни в Москве и вторую — в Огородной слободе.

Любовь к перемене мест владела обоими супругами. Они жили то в Петербурге, то в Москве, то в Михайловском. Ездили с маленькими детьми, не опасаясь трудностей многодневного пути на лошадях. А в Москве постоянно меняли жилище, всегда находили какие-нибудь недостатки, и новая квартира соблазняла большими удобствами или лучшим расположением.

В дом Волкова, откуда они съезжали сейчас, летом налетали комары с пруда и ручья Рачки, а вид из окон на пустое место казался Надежде Осиповне осенью особенно унылым.

У Сергея Львовича были свои соображения. Его привлекал домашний юсуповский театр, где, казалось, он может быть полезен советами, как знаток сцены и актерского мастерства. Княжеский кров манил также известностью имени. Екатерининский вельможа Николай Борисович Юсупов слыл знаменитым любителем искусств и покровителем муз. Юсуповские чертоги и сад были достопримечательностью Москвы.

Впрочем, в Огородниках Пушкины поселились по простым житейским соображениям — позади церкви святого Харитония был дом Ольги Васильевны, матери Сергея Львовича. Теперь, когда старушка умерла, в нем жили ее дочери Анна и Елизавета и сын Василий Львович Пушкин — известный в Москве поэт.

В день переезда Сергей Львович отправился к ним — он плохо переносил всякое неустройство.

Надежде Осиповне тоже надоела суета этого дня. Она захотела узнать, как дети. Их отправили пока неподалеку — на квартиру ее матери, Марии Алексеевны Ганнибал, с нянюшкой Ариной Родионовной и гувернанткой.

Смотреть за переездом досталось бабушке Ганнибал. Впрочем, ее, давно оставленную мужем и привыкшую к самостоятельности и трудам, это не пугало. Но и довольна она тоже не была, так как вообще не одобряла жизни четы Пушкиных. Слишком много развлечений — балов, театров, приемов, и мало забот о детях, о доме. Слишком много трат и мало доходов. Хотя... может, не надо быть такой строгой? Дочь ее уже натерпелась бедности, а молодость и красота берут свое.

Дети были довольны. Весь день они у бабушки Ганнибал, одни с няней. У мадам заболела голова — она спит на диване в гостиной. А они играют в бабушкиной спальне. И здесь останутся ночевать. Старшая — темленькая Оля — возилась с куклой и лоскутами из бабушкиной шкатулки. Светловолосый голубоглазый Саша листал бабушкин альбом с рисованными цветами, птицами и старинными замками. Скучал только младший — Николенька. Он ковылял на неокрепших ножках, хныкал. Няня взяла его на руки, покачивая, запела:

Баю, баю, кот,  
Баю, баю, серый!  
Приди, кот, ночевать  
На тесовую кровать...

— Няня, сказку! — потребовал трехлетний Саша. Он не любил, когда няня занималась братом. Няня — его няня.

— Обожди, батюшка, будет тебе сказка. Вот братца спать уложим, останемся одни большие, будем сказки сказывать...

Няня... Прежде всего он узнал нянины руки, потом — нянины речи.

Руки были твердые, шершавые, но всегда теплые, ласковые. Они покачивали его, когда он плакал, тихонько похлопывали. Поднимали, когда падал, поглаживали ушибленное место. Расчесывали спутанные кудри. На одной руке было тонкое серебряное колечко обручем. Никто из детей не мог его снять, и няня не могла. Оно вросло в палец, так давно она его носила.

Нянины речи — певучие, тихие или бойкие, веселые — понимал он сначала не по смыслу, а по музыке. Под сказки, припевки, прибаутки, которые сыпались, как камушки с перестуком, как праздничный перезвон, хотелось притопывать, подпрыгивать, стучать ложкой по столу, повторяя бойкий лад:

Тень-тень-потетень,  
Среди города плетень...

Ай ду-ду, ай ду-ду,  
Сидит ворон на дубу...

— Заяц белый, где ты бегал?  
— Я в лесу гонял лису.

Под протяжные песни он медленно покачивался, переступая с ноги на ногу или сидя — вместе с креслицем. Под эти песни он засыпал.

Отставала лебедушка что от стада лебедьнова,  
Воскричала лебедушка, воскричала, восплакала:  
Не оставь меня, милый друг, погибать одну-одиношеньку.

Постепенно стал он понимать отдельные слова, что-то представлять, видеть то, о чем пелось. Няня пела про востроносую лодку с гребцами — удалыми молодцами, про душу-девицу лебедушку, про селезня и серую утицу. Он лежал в кровати, а песня плыла-текла, текла река песенная, плыли по реке лодки-лебеди, утицы с малыми утятами... и вслед за ними он уплывал в сон.

А когда стал постарше — пришли сказки по вечерам, как награда за весь день. В сказках Добрые воевали со Злыми. Злые были сильными и ловкими. Добрым приходилось трудно. Но в конце концов побеждали Добрые — они оказывались и сильнее, и умнее, и ловчее. Добрым все помогали. Злым — никто. Он вздыхал с облегчением после всех страхов и волнений, уже во сне.

Но детских лет люблю воспоминанье.  
Ах! умолчу ль о мамушке моей,  
О прелести таинственных ночей,  
Когда в чепце, в старинном одеянье,  
Она, духов молитвой уклоня,  
С усердием перекрестит меня  
И шепотом рассказывать мне станет  
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Руки и речи — это была няня. Такая привычная, что он ее скорее чувствовал, чем видел. Разглядел позже: носик смотрит кверху меж толстых щек. Такой и нарисовал ее — уже в Михайловском.

Напротив княжеских хором был сад, он так и назывался: Юсупов сад. Сад тоже привлекал маленького Пушкина, но совсем иной, отличной от замысловатых, пестрых хором, красотой. В него вели ворота — белые колонны, чугунные узорчатые створки.

В саду разрешали гулять детям «хороших фамилий» под присмотром бонн и гувернанток. Дети резвились, играли вместе, порой слушали наставительные беседы немолодой женщины — одной из воспитательниц.

В начале жизни школу помню я;  
Там нас, детей беспечных, было много;  
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,  
Но видом величавая жепя  
Над школою надзор хранила строго.

• • • • •  
Меся смущала строгая краса  
Ее чела, спокойных уст и взоров,  
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,  
Я про себя превратно толковал  
Понятный смысл правдивых разговоров.

И часто я украдкой убежал  
В великолепный мрак чужого сада,  
Под свод искусственный порфирных скал.

Сад изумлял богатством и разнообразием красок. Ярко-зеленые кроны кленов и лип соседствовали с темными шатрами елей, за которыми видны были серебристо-серые купы курчавых ив возле пруда. Глянцевые темно-зеленые ветви плюща и красные резные листья винограда обвивали серый и розовый гранит гротов, сахарно-белые балюстрады и причудливые беседки.

Среди зелени, меж кустов жасмина, сирени, в тени деревьев поднимались на пьедесталах мраморные белые изваяния.

Сад был тенистым, таинственным. От главной аллеи, спускавшейся к пруду, шли в стороны узкие сумрачные дорожки под зелеными сводами ветвей. Журчал ручей меж мшистых камней. Пахло влажной землей. Тени и солнечные блики скользили по слепым лицам мраморных богов и богинь, по их плечам и рукам. Казалось, они движутся, они живые.

Всё — мраморные циркули и лиры,  
Мечи и свитки в мраморных руках,  
На главах лавры, на плечах порфиры —

Всё навредило сладкий некий страх  
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,  
При виде их, рождались на глазах...

За пять лет, прожитых в Огородной слободе, произошло много событий. Родился новый братец — Левушка.

Теперь у Арины Родионовны было двое маленьких питомцев. Сашу передали гувернантке, воспитывавшей Олю. Разлуку с няней он переносил болезненно. Видеться с ней можно было лишь урывками, почти украдкой. По установленному порядку он, теперь «большой», жил в другой детской. Заботы о его платье и обуви, умыванье-одевание были возложены на Никиту. Среди шести дворовых, принадлежавших Пушкиным, числился Никита Тимофеев Козлов двадцати шести лет. Он стал «дядькой» Пушкина, слугой-другом на всю жизнь.

Начались занятия, а с ними и неприятности. Говорить по-французски мальчик научился легко и быстро, но заучивать не умел, не любил. Все, что надо было учить, становилось скучным, ускользало, не запоминалось, правила грамматики решительно не давались. Гувернантка жаловалась маменьке. Маменька требовала прилежания, усидчивости, внимания, сердилась, дергала за руки — он и ее слушал плохо, смотрел в сторону. Она была недовольна его видом: курчавые волосы торчат, манжеты у рубашки мятые, пуговица на курточке расстегнута и опять нет носового платка. Его учили ходить степенно, не прыгать, не стучать ногами по лестнице, шаркать ножкой и кланяться, выходя к обеду или в гостиную. Надежда Осиповна огорчалась — ребенку не хватало грации.

Иногда мальчпку позволяли побыть вечером в нижних комнатах. Здесь собирались друзья отца и дяди, постоянные гости. Поэт Иван Иванович Дмитриев, рябой от оспы и кривой на один глаз, всегда щегольски одетый, читал свои стихи и басни. Запомнился человек с тонким удлинненным лицом и красивыми руками. Он читал из толстой большой тетради страницу за страницей, размеренно, не спеша, тихим голосом, изящно жестикулируя. Отец слушал его с благоговением. «Запомни, Сапа, — сказал он, проводив гостя, — это Николай Михайлович Карамзин, великий писатель».

Пашенька и дядюшка тоже читали стихи. Папенька

любил читать Мольера — представляя все действие только лицом и голосом. Получалось очень живо, занятно, дети слушали его днем, это была репетиция, гости — вечером. Всем нравилось чтение, похожее на театр.

Отец декламировал также французских поэтов и свои стихи на французском языке. Читал он возвышенно — нараспев, чуть в нос, прикрыв глаза и закинув голову. Временами медленно поднимал руку, как бы вытягивая из себя конечные строки, и замирал в паузе. Окончив, сильнее выпячивал нижнюю губу и обводил взглядом слушателей. Ему аплодировали — читал он превосходно.

Дядюшка Василий Львович подражал брату, но получалось смешно. Голос был пискляв, а короткие ручки поднимались с трудом — мешала излишняя полнота. Иногда дядюшкино чтение детям слушать запрещали, Надежда Осиповна делала незаметный знак — выйти из гостиной. За дверью было слышно, как смеются мужчины.

Теперь самым счастливым временем стало лето — классов не было. Лето было счастливым и потому еще; что появилось Захарово — купленное бабушкой Ганнибал маленькое скромное имение под Москвой. Оно стояло на пути в Можайск, ехать туда надо было весь день, путешествие на лошадях было увлекательным. В Захарове Пушкины жили с весны до поздней осени.

По приезде старшие, брат и сестра, обегали любимые места — липовую аллею, лужайку со старым дубом, березовую рощу, ветлы на берегу пруда. Впереди было долгое лето — игры среди берез, деревенские хороводы и песни на лугу, дальние прогулки за речку в еловый лес, чтение в парке и воскресные поездки в Большие Вяземы — имение Голицыных, где жили когда-то Борис Годунов, Дмитрий Самозванец и где стояла старая, от тех времен, церковь.

И все лето жизнь с бабушкой и няней, — свободная, веселая жизнь.

Укрывшись в кабинет,  
Один я не скучаю  
И часто целый свет  
С восторгом забываю.

Смерть Николеньки в 1807 году заставила Пушкиных расстаться с Огородниками. Они вернулись в Немецкую слободу, где жили в год рождения Александра. Отец показал мальчику дом, где он родился. Гуляя с Никитой, Саша обошел двор, застроенный сараями и клетушками, спустился к заросшему крапивой и лопухами ручью, называвшемуся смешно — Кукуй.

Теперь они жили в другом месте, ближе к Лефортовскому дворцу — большому, приземистому, пышно украшенному зданию. Здесь тоже было много садов. В тихих переулках стояли маленькие деревянные особнячки с мезонинами и крылечками под резными навесами. А в глубине больших садов, за резными решетками, — богатые дома с колоннами.

В Немецкой слободе полнее открылась мальчику Москва. Он рос, становился взрослее, сильнее, дальше ходил и больше видел. А кругом было так много памятников старины. От времени Петра I кроме Лефортовского дворца сохранились старые кирхи, среди вековых деревьев стояли чертоги знаменитых екатерининских вельмож — Орловых, Воронцовых.

В одном из этих владений Пушкины бывали постоянно, запросто. Родственные и дружеские связи с семьей графа Дмитрия Петровича Бутурлина открыли для детей и великолепный сад с беседками, гrotами, прудами и цветниками, спускающийся к самой Яузе, и прекрасную библиотеку в несколько тысяч томов, со множеством редких и ценных изданий — европейских и отечественных.

Книги тянули мальчика к себе neodолимо. Это началось лет с восьми. Он мог зачитаться, стоя у книжной полки в библиотеке графа. Его искали, звали — он не слышал. Отец пытался направлять чтение сына. Он дал



ему «Жизнеописания» Плутарха, «Илиаду» и «Одиссею», переведенные на французский. Но было и другое чтение — бессистемное и бесконтрольное. Это была его тайна, и в нее были посвящены только самые близкие — сестра, няня, Никита.

Раза два в неделю, а в праздники и чаще, родители уезжали в гости. К подъезду подавали наемную карету. Надежда Осиповна, шелестя шелками, выплывала из будуара — благоухающая, покачивая головой в темных локонах на лебединой шее. Ноздри ее трепетали, как бы вдыхая ароматы бала, она прикрывала ресницами блеск глаз — таила от мужа предчувствие успеха. Степенно выходил Сергей Львович, гордо подняв голову, подпираемую высокими воротничками, выставив грудь в пестром жилете. Он пружинил ногами, обтянутыми светлыми панталонами, хлопал по карманам — проверяя, на месте ли табакерка, лорнет, мельком взглядывал, хорошо ли отполированы ногти. Господ укутывали в меха, сажали в карету.

После суматохи в передней, хлопанья дверьми, криков и восклицаний в доме наступала тишина. А затем дом взрывался множеством новых звуков: смехом и песней из людской, фортепьянными пассажами из гостиной, где оказывались вдвоем гувернер с гувернанткой, топотом ног по лестнице, ведущей на антресоли, и перекличкой мужских и женских голосов — это «верх» говорил с «низом» о необходимых житейских делах: куда подавать ужин, нужно ли зажечь свечи в гостиной, топить ли на ночь в детской.

После ужина наступали часы свободы. Домашние ложились рано, а кто не спал — сидел у себя. На лестнице горел одинокий ночник — огарок в стеклянном пузыре. Мальчик брал свою свечу в бронзовом подсвечнике-птице и спускался в кабинет.

Книжные шкафы не запирались. Он мог читать начатую книгу или искать новую. Многое здесь он уже

знал — еще не прочел, но брал в руки, листал, смотрел. Вот в коричневой коже переплетов — многотомные Вольтер и Руссо. Темно-зеленые тома с изящными гравюрами — трагедии Расина, а маленькие томики с рельефными корешками и веселыми картинками с подписями — Мольер. На этой полке, в светлых бумажных обложках — голубых, розовых, желтых, — русские журналы. Вот тоненькие тетради «Вестника Европы», листы «Приятного и полезного препровождения времени». Здесь много знакомых имен и чаще всего встречается имя Карамзина. Рядами стоят маленькие светло-коричневые томики-восьмушки с золотым тиснением — Гораций, Овидий, Петрарка, Парни. А вот книги побольше, в четвертку листа, — стихотворения Державина, Дмитриева, «Душенька» Богдановича. Хорошо знакомая книга — басни Лафонтена с забавными сценками в гравюрах. Есть книги, в которых картинки можно рассматривать подолгу, — так они сложны, интересны. Это фолианты: «Энциклопедии» Дидро, альбом с изображением событий французской революции. В альбоме есть страшная гравюра. Палач держит голову короля Людовика XVI, только что отрубленную гильотиной, а кругом стоит и смотрит толпа...

Книг так много, что новую выбрать очень трудно. Но в этот раз мальчик не ищет новую, а продолжает «Кандида». Он сидит в своей любимой позе — подперев кулаком щеку, поджав одну ногу. Он читает. Потрескивает свеча, оплывает воск на подсвечник. Английские часы в гостиной мягко и веско пробили одиннадцать, затем двенадцать. Им отвечает тонкий музыкальный звон бронзовых часов на камине. Но Саша не слышит.

Вздрагивает он от тихих шагов за спиной, от скрипа половиц. Няня! «Батюшка мой, да разве можно так? Глазки-то пожалей свои. Спать давно пора». И правда — пора. Скрипит снег у дома, стучат по крыльцу шаги, вскакивает заснувшая на сундуке в передней девочка, оглушительно грохочет засовом.

Он гасит свечу, няня машет рукой, стараясь развеять дым. С башмаками в руках бесшумно взлетает мальчик по лестнице, бросается одетый на кровать, натягивает одеяло до подбородка. Сердце колотится, стучит. Стучит так, что не понять — сердце это или идут по ступеням. Неужели маменька? Но шаги минуют его дверь. А может, и не было шагов, может, показались шаги, может, и вправду сердце.

Он так и засыпает одетым. Последнее, что мелькнет в сознании, — запомнившаяся строфа из Расина, звонкие звуки, слова, фейерверком взметнувшиеся кверху и звездами рассыпавшиеся в темноте.

Он был наполнен французскими стихами. Дома говорили, читали, декламировали по-французски. Французских поэтов читал он сам. И сочинять он начал по-французски. Подражал комедиям Мольера. Первая его поэма «La Tolyade» была написана под впечатлением «Генриады» Вольтера. Ее высмеял гувернер, первый читатель. Пушкин тут же бросил тетрадку в печь, в огонь.

Его поражали звуки. Музыка была в обыкновенных словах. Чтобы извлечь ее, надо было ударять слова друг о друга, как крокетные шары. Тогда они начинали звучать: «быстрая стрела», «ветви ивы», «лес поседел», «гриву долгую волнуя...» Он сидел, грыз ногти и слушал, как в нем звучат слова.

А учился он по-прежнему плохо, неохотно, с мучением. Может быть, мальчик будет успевать лучше в кругу своих сверстников? Не пора ли покончить с домашним воспитанием — ему скоро двенадцать.

Этот вопрос родители обсуждали с первых месяцев 1811 года. Все хвалили пансион иезуитов. Сергей Львович отправился в Петербург для переговоров. В это время стало известно о новом учебном заведении в Царском Селе. Пушкины могли воспользоваться своими дружескими связями для устройства старшего сына. Отправили

прошение о приеме. Весной было решено — он едет в лицей!

Отвезти племянника в Петербург, определить его в лицей, сопровождать на экзамены, держать у себя и присматривать до начала учения вызвался дядюшка Василий Львович.

На тройке пренесенный  
Из родины смиренной  
В великий град Петра...

Июльским утром 1811 года комфортабельная коляска, запряженная резвой тройкой, миновала Тверскую заставу и покатила по большому Петербургскому тракту. В селе Всехсвятском сделали остановку — Василий Львович захотел квасу, со льда. Пока он сидел возле трактира на скамье в тени ветвистой липы и пил из стакана маленькими глотками квас, налитый из запотевшего кувшина, Саша, болтая с кучером о лошадях, влез на козлы. Поднявшись, он вдруг замер: перед ним широким полукружием раскинулась Москва, хорошо видная с пологой возвышенности Всехсвятского. Под солнцем сияли бесчисленные маковки с крестами, сверкали сахарной белизной дворцы среди зелени садов, высились зубчатые стены и островерхие разноликие башни Кремля, колокольные церкви, монастырей, а над всеми дерзко вздымал маленькую золотую главку Иван Великий.

Мог ли знать мальчик Пушкин, что прощается с Москвой надолго, что все, что он видит сейчас, скоро почернеет, обуглится, разрушится в страшном пожаре 1812 года? А он, юный поэт, обращаясь к родной Москве, будет вспоминать ее такой, какой она была при прощании.

Края Москвы, края родные,  
Где на заре цветущих лет  
Часы беспечности я тратил золотые  
Не зная горести и бед.

И вы их видели, врагов моей отчизны!  
И вас багрила кровь и пламень пожирал!  
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;  
Вотще лишь гневом дух пылал!..

Где ты, краса Москвы стоглавой,  
Родимой прелесть стороны?  
Где прежде взору град являлся величавый,  
Развалины теперь одни;

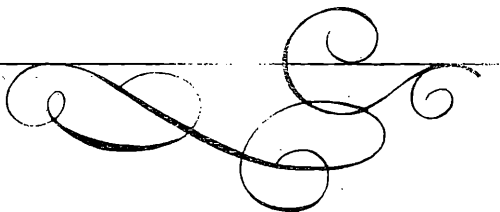
.....  
Исчезли здания вельможей и царей,  
Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,  
Чертоги пали богачей.

Он будет читать эти громкозвучные торжественные строфы на экзамене перед Державиным через три года. А пока — пока он на пути к будущему, еще неведомому.

Василий Львович поставил стакан, уселись, лошади тронули, коляска покатила.

Впереди была долгая дорога, мальчика ожидало множество открытий — новые земли, новые люди. Начиналась новая глава его жизни.

## БЕССАРАВСКИЙ ПЛЕННИК



Теперь я один в пустынной для меня Молдавии...

**П**ушкин начал письмо к брату. Он был вноват перед ним — не писал с отъезда из Петербурга. Тогда был май, сейчас — конец сентября, 1820 год. Он опишет Льву свое путешествие по Кавказу и Крыму. Вспоминать эти месяцы отраднo. Может, и тоска отпустит. Ужасная тоска. Теперь он действительно чувствовал себя изгнанником. Чужая сторона, и он чужой здесь. В родных краях уже осень, а здесь, в Кишиневе, еще жаркое лето.

Вьется белая пыль по нагретым дорогам, над глиняными мазанками стоит запах прелых фруктов — по крышам, изгородям, на расстеленных холстах сушатся яблоки, груши, сливы, виноград. Под низким потолком наумовского дома для приезжих душно, в окнах жужжат большие черные мухи. Чернила тотчас сохнут на конце пера. «Арап», африканец, Ганнибал — Пушкин не терпит жары, не любит лета.

Все, что было до сих пор, не походило на ссылку и не страшило. Даже когда он выезжал из Петербурга теплым майским днем, а Дельвиг и Яковлев — друзья юности — провожали его до Царского Села, даже тогда сердце не сжималось, как сейчас.

Тогда он чувствовал себя героем. Он поступил смело, может и безрассудно, там — у петербургского генерал-губернатора Милорадовича. Противоправительственные стихи свои и эпиграммы он накануне сжег. Сжег, как только Никита сообщил ему о сыщике. Сыщик был днем, пытался проникнуть в кабинет, подбирался к письменному столу. Сыщик сулил Никите пятьдесят рублей. Но верный Никита его выгнал. А на следующий день явился полицмейстер, пригласил Пушкина в свой экипаж — ехать к Милорадовичу. Было похоже на арест. И генерал-губернатор, как только они прибыли, приказал полицмейстеру вернуться и опечатать все бумаги, которые будут найдены.

— Граф, — сказал Пушкин, — вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумагу, я здесь же вам все напишу.

Безрассудно? Для рассуждений не было и минуты. Пушкин представил ужас родителей, когда в дом явится полиция. Он сел за стол и заполнил крамольными стихами целую тетрадь. Милорадович был восхищен. «Это по-рыцарски!» — воскликнул он, просмотрел написанное, посмеялся над некоторыми страницами и, отпустив Пушкина, сказал, что он прощен.

Однако Милорадович поторопился. Александр I, выслушав доклад генерал-губернатора, выразил неудовольствие. О каком прощении можно говорить, когда Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами? (Разумелись стихи, способствующие возмущениям политическим.) Вся молодежь знает их наизусть. Пушкина надобно сослать в Сибирь!

С чего все началось?

Может, с того, что на приятельской пирушке читали стихи. Пушкину шумно аплодировали, эпиграммы его встретили криками «браво!». А потом кто-то из участников застолья пошел и донес, не прямо, не грубо, — рассказал, кому надо, рассказывая, возмущался, вспоминал содержание стихов, а эпиграмму «Холоп венчанного солдата...» привел дословно. А уж тот, другой, кому было рассказано, написал донос по всей форме.

А может, началось так: чьи-то услужливые руки поднесли царю список оды «Вольность», отметив особо три строфы, где говорится про убийство Павла I. Событие сие передано было довольно точно, уж Александр мог об этом судить.

Итак, с чего бы ни началось, а тучи над Пушкиным собирались. Весной двадцатого года в Тайной канцелярии завели дело. Подробности действий, направляемых самим царем, — полицейский розыск, слежка — держались в тайне. Но слухи о ссылке Пушкина в Сибирь, даже о заточении его в Соловки просочились в общество, дошли до друзей.

Поднялась тревога. Друзья, именитые люди — Жуковский, Чаадаев, Гнедич, Александр Тургенев, президент Академии художеств Оленин, директор лицея Энгельгардт — либо искали заступников, либо сами просили за поэта.

Все слова, сказанные в защиту Пушкина, — он надежда и слава России, великий талант, гений, — только раздражали царя. Если ты гений, то и трудись во славу Отечества, как это делает Николай Михайлович Карамзин, пишущий «Историю государства Российского». Вот он-то и есть истинный колосс словесности нашей!

Отказать Карамзину царь не мог. Карамзин ручался, что Пушкин более не будет писать против правительства.

Александр I согласился заменить ссылку в Сибирь назначением к главному попечителю колоний Южного края — генерал-лейтенанту Инзову.



Ссылки не было, было назначение. Была царская милость. Об этом говорили в Петербурге.

Пушкин «благополучно поехал в Крым месяцев на пять... Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным», — писал Карамзин Вяземскому.

Великодушно! Не запер в Соловки, не сослал в Сибирь... Но в Крым с семьей генерала Раевского Пушкин поехал не с дозволения царя. Поездку эту разрешил новый его начальник — Иван Никитич Инзов.

В официальном письме Инзову в осторожных выражениях сообщалось о причине удаления Пушкина из Петербурга: «Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства».

Наказание деликатно именовалось вниманием.

Через несколько дней после высочайшего повеления Пушкин уже катил по горячим украинским дорогам — в красной косоворотке, в поярковой шляпе с полями от солнечных лучей.

А ода «Вольность» продолжала жить своей жизнью, независимой от поэта, независимой от царя. Ее переписывали с листка на листок, и вот уже десятки, сотни листов разлетелись по России.

Ода трубила тревогу:

Тираны мира! трепещите!  
А вы, мужайтесь и внемлите,  
Восстайте, падшие рабы!

Месяцы, проведенные с Раевскими на Кавказе и в Крыму, прошли. Начиналось изгнание. Изгнание, названное назначением. Назначение не имело срока. Это и было страшно.

Пушкин обмакнул перо в чернильницу и продолжал письмо к брату:

«...Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку... Ге-

нерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада... сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам, лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить, Инзов благословил меня на счастливый путь — я лег в коляску больной; через неделю вылечился...»

С Инзовым Пушкину повезло. Иван Никитич был добр.

Два месяца прожил Пушкин на Кавказе, лечился у целебных источников — горячих, холодных, лазил по горам. С вершин Машука, Железной и «птихолмного Бешту» любовался дальними горами.

«Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными... Видел я берега Кубани и сторожевые станицы... Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажженным фитилем... Ты понимаешь, как эта тень опасности правится мечтательному воображению...»

В воображении он был уже пленен горцами и закован в цепи. Он не хотел пока сообщать брату, что пишет поэму о человеке, внезапно лишенном свободы, — о кавказском пленнике:

Пушкин писал, как из Кефы — Феодосий — отправились они морем вдоль южных берегов Крыма. Вспомнил ночь, проведенную на бриге. В ту ночь начал он сочинять элегию «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман...» — и теперь, закончив, посылает с этим письмом и просит печатать без подписи. А утром с палубы увидел он красочные берега Тавриды:

Кто видел край, где роскошью природы  
Оживлены дубравы и луга,  
Где весело шумят и блещут воды

И мирные ласкают берега.

.....  
Все живо там, все там очей отрада,  
Сады татар, селенья, города;  
Отражена волнами скал громада,  
В морской дали теряются суда...

Полуденный берег. Юрзуф. Свободная, беспечная жизнь.

«Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душою... Все его дочери — прелесть...»

Одной из них отдал поэт свою любовь. Какой? Он никогда не назовет ее имени. Пушкин задумывается, а перо его рисует классически четкий профиль Екатерины, милое лицо Марии...

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,  
На утренней заре я видел Нереиду.  
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:  
Над ясной влагою — полубогиня грудь  
Младую, белую как лебедь, воздымала  
И пену из власов струею выжимала.

Полуденный берег. Юрзуф...

А сейчас он пленник, невольник, раб. Бессарабский пленник. В Бессарабии раб.

«Душное азиатское заточенце» только начиналось...

...Среди толпы затерянный певец...

В доме Тодора Крупенского, брата вице-губернатора, выступала заезжая труппа немецких актеров. Собрался весь светский Кишинев. Один из зрителей — офицер Владимир Горчаков, недавно прибывший в 16-ю дивизию, — с интересом рассматривал публику. Особо привлек его «молодой человек небольшого роста, но довольно плечи-

стый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою?..»

Увидев, как заинтересовался молодым человеком Горчаков, сосед его сказал:

— Это Пушкин, поэт. Знаменит своей поэмой о Руслане — слышали?

В антракте Пушкин направился к ним. Он шел, раскланиваясь со знакомыми, сверкая белозубой улыбкой. С соседом Горчаковым, коллежским асессором Алексеевым, чиновником канцелярии Инзова, Пушкин заговорил о пьесе, о дурной игре актеров, и разговор тотчас стал общим: Пушкин обращался и к Горчакову.

Прошло немногим более месяца с приезда Пушкина в Кишинев, а он уже вошел в пестрое общество города — с людьми он сближался легко. Было тут несколько кругов, и в каждом свой центр — дом, хозяин дома, его семья, постоянные посетители, свои разговоры, интересы. Многие делили время между различными кругами. Пушкин тоже.

В доме Михаила Федоровича Орлова, генерал-майора, командира 16-й дивизии, одного из руководителей тайного общества, собирались офицеры, квартировавшие в Кишиневе, приезжавшие из главного штаба второй армии — из Тульчина, из других городов. Орлов держал открытый стол, к обеду всегда сходилась множество людей.

В своей дивизии Орлов запретил телесные наказания, привлекал к военному суду за жестокое обращение с солдатами. Деспотизму и крепостничеству в застольных беседах доставалось немало. Пушкин говорил остро, убедительно, ругал помещиков, правительство, доказывал, что

только подлецы могут не желать смены его. Резкие выражения и чрезмерную горячность Орлов не любил, полупутя грозил он поэту пальцем.

Здесь же, в более интимной обстановке, собирались товарищи по тайному обществу, велись многочасовые споры на темы социальные, философские.

В доме Орлова Пушкин встречал людей исключительного благородства и гражданского мужества.

Майор Владимир Федосеевич Раевский ведал школой для солдат. Вместе с обучением грамоте заложить основы общего образования — была его идея, ради нее не жалел он ни времени, ни сил, ни своих средств. Раевский был одаренным человеком, понимал поэзию, писал стихи. Был он пылким спорщиком. Два бурных темперамента сталкивались, стоило Пушкину и Раевскому начать разговор. Пушкину эти споры были по душе, и он прощал Раевскому многие резкости.

Бывал у Орлова и бригадный генерал Павел Сергеевич Пущин, глава кишиневской масонской ложи «Овидий». Он был более умеренных взглядов, считая, что масонская деятельность, самоусовершенствование и просвещение народа — это все, что нужно России.

К Орлову, женившемуся в 1821 году на Екатерине Раевской, часто приезжали Раевские из Киева, Александр и Василий Давыдовы — братья генерала Раевского — из своего имения Каменки.

Круг Орлова был Пушкину наиболее близок по убеждениям, привязанностям, по уровню.

В доме Егора Кирилловича Варфоломея, члена Верховного областного совета, богатого откупщика, собирались на танцевальные вечера. Бывало человек до ста. Играл домашний цыганский оркестр. Мазурку и вальс сменяли «мититика» и «сербешти» — местные танцы, молдавская речь мешалась с русской. Гостей обносили оршадом и сладостями. Варфоломей собирал молодежь — военных, штатских, — искал жениха для единственной

дочери. Круглоликая Пульхерица была миловидна, приветлива и немногословна.

У вице-губернатора Матвея Егоровича Крупенского и его супруги Екатерины Христофоровны собирались любители карт. Игра шла большая, засиживались допоздна. На зеленом сукне ломберного стола Пушкин быстро рисовал мелом знакомые лица, рисовал и хозяйку дома — в профиле ее было сходство с его лицом. Нарисует прищеску — Крупенская, сотрет — получается он сам.

Было еще два-три дома бессарабской знати, где Пушкин бывал изредка. К губернатору Катакази он ездил только в дни официальных приемов.

Временами быт этих домов, прятая скука и пустословие светских сборищ надоедали Пушкину нестерпимо, делалось ему, как говорил он, «молдованно и тошно», и он сочинял озорные куплеты — всем подряд в них доставалось.

Куплетами этими забавлялись в холостяцкой компании у подполковника Липранди. Ивана Петровича посещали почти все, кто бывал и у Орлова. Но у Липранди было свободнее — серьезное мешалось с весельем, соленные шутки и анекдоты никого не шокировали. Хозяин — храбрец, отличившийся в войне 1812 года, — смуглолицый, горбоносый, с лихо закрученными усами, не то испанец, не то француз, отчасти грек, личность загадочная, авантюрная: жизнь его изобиловала приключениями и тайнами. Липранди привлекал лихостью, бесстрашием, рассказами о дуэлях.

У Липранди висела карта Европы. Однажды в разговоре Пушкин хотел найти столицу какого-то государства и не смог. Владимир Раевский вызвал из передней своего денщика, спросил, где находится этот город, и тот сразу нашел... Вот, кстати, и наглядный пример образования нижних чинов. Гости смеялись, Пушкин тоже. На другой день взял он у Липранди географию Мальтебрюна.

В домах братьев Кантакузеных, князей Георгия и Александра, жили мечтой об освобождении Греции из-под турецкого ига. Все внимание отдавалось освободительной войне и храброму вождю гетерии — генералу Александру Ипсиланти, герою 1812 года — «безрукому князю», как называл его Пушкин. Надежда, что «Феникс Греции воспрянет из своего пепла», воодушевляла общество. Временами тревоги и опасения повергали всех в уныние, и тогда Пушкин мог сказать: «...между пятью греками я один говорил, как грек». Ветер свободы вдохновлял его.

«Я видел письмо одного инсургента: с жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти, восторг духовенства и народа и прекрасные минуты Надежды и Свободы».

Бывал Пушкин также в казино или клубе в городском саду, где собирались на танцы, обедал с приятелями в трактире, отдавал должное пурпурно-черному «негро» и золотому «фетяску», в бильярдной ловко гонял шары.

Однажды игра в бильярд чуть не кончилась двойной дуэлью. Брат генерала Орлова, Федор Федорович, и Алексеев играли. Пушкин и Липранди смотрели. Пили портер. Потом выпили в круговую «вазу» жженки, проигрыш, выпили еще одну. Пушкин начал вмешиваться в игру. Орлов назвал его школьником, Алексеев добавил: «школьников и проучивают». Пушкин вспыхнул, смешал шары и тотчас вызвал обоих на дуэль. Назавтра Липранди их примирил.

Стены своей комнаты Пушкин исковырял пулями — набивал руку и глаз, твердость и точность. Готовился к поединкам. Он был вспыльчив, обижался легко, в стычках делался задорен: прав, не прав — стреляться готов.

Дуэли бывали в Малине, кишиневском предместье, среди садов и виноградников. Стрелялся здесь и Пушкин. Весной с офицером генерального штаба Зубовым — стоя под выстрелом, ел черешни. С полковником Старовым — зимой, в метель. Снег мешал, стрелялись дважды, и оба

дважды промахнулись. «Я жив, Старов здоров, дуэль не кончен», — известил Пушкин запиской приятеля.

Инзов не раз сажал своего подопечного под домашний арест, если успевал вмешаться, — то ли наказывал, то ли спасал. В комнатах Пушкина окна были забраны решетками. Решетки напоминали тюрьму, он казался себе узником — «Сижу за решеткой в темнице сырой». Впрочем, заточение не было строгим: были гости, были книги.

Очень привязался Иван Никитич Инзов к молодому поэту. Этот человек с простедкой, даже топорной внешностью оказался по-родительски добр, снисходителен и мягок. Он оберегал Пушкина от неосторожных поступков, от возмущения обывателей, от неусыпного ока петербургского начальства, требовавшего сообщений о поведении поэта (Инзов давал ему неизменно лучшие аттестации). Помогал бороться с тоской, разрешая на свой страх и риск поездки в Одессу, в Каменку, по историческим местам Бессарабии. Прощал ему дерзкие речи у себя за столом в присутствии лиц, которые могли и донести, не замечал озорства и шалостей, на которые жаловались чиновники.

Одиночества, пожалуй, не было. Было нескончаемое движение, шум — люди, разговоры, споры, смех, стрельба. Много людей было вокруг: знакомых, приятелей, даже друзей. Но нет друга — нужного и близкого, который поймет все, с которым можно говорить, можно молчать. В стихах к Чаадаеву Пушкин писал: «Ничто не заменит единственного друга...»

Сохранился маленький отрывок из кишиневского дневника поэта. Вот только четыре весенних дня, всего четыре, а какое разнообразие интересов и встреч.

«9 апреля. Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...

Получил письмо от Чадаева. — Друг мой, упреки



твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье...

Вчера князь Дм. Ипсиланти сказал мне, что греки перешли через Дунай и разбили корпус неприятельский.

4 мая был я принят в масоны.

9 мая. Вот уже ровно год, как я оставил Петербург. Третьего дня писал я к князю Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско...

26 мая. Поутру был у меня Алексеев. Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пушкин, Алексеев и Пестель; потом был я в здешнем остроге... Вечер у Круцевских».

Последняя запись в день рождения поэта. 26 мая 1821-го ему исполнилось двадцать два года. В пестром кишпневском обществе жил он до двадцати четырех.

Лазурь чужих небес, полдневные края...

Арде-мэ, фриже-мэ,  
Пе кэрбуне пуне-мэ! —

пела цыганка, встряхивая головой, и серьги золотыми полумесяцами блестели в спутанных ее кудрях. Ей подпевали музыканты, игравшие на скрипках, кобзах, тростянках. Цыганский оркестр Варфоломея славился мастерством. Голоса дикие, хрипловатые, слова пезнакомые. Песня кончена. «Жги меня, испеки меня, на уголья клади меня», — переводят Пушкину молдавскую песню.

Режь меня, жги меня:  
Я тверда: не боюсь  
Ни ножа, ни огня.  
Непавижу тебя,  
Презираю тебя,  
Я другого люблю,  
Умираю любя.

Так поет Земфира в «Цыганах». Вспомнит Пушкин потом, работая над поэмой, шумные толпы бессарабских

цыган, их гортанные выкрики, живописные лохмотья, скрипучие их арбы, гомон юрких смуглолицых ребятишек, гибкие спины цыганок, качающиеся в ходьбе, ловких молодых цыган с бегающими глазами, стариков в дырявых войлочных шляпах... Вспомнит табор вблизи Долну, куда приезжал он в гости к владельцу поместья и где остался, заговорившись со старостой-балибашу, засмотревшись на его дочь Земфиру. Она ходила в цветных шароварах и курила трубку — словно мужчина или старая цыганка. Он жил в одном шатре с ней, а потом она убежала, он ее искал, не нашел и больше не видел.

В праздничные дни площади и улицы города наполнялись разноликой, разноязыкой толпой. Молдаване, цыгане, евреи, турки, болгаре, малороссияне, греки, караимы, французы, итальянцы — кто только не жил в Кишиневе.

За Дубоссарскою заставою и в Булгарее бывали большие народные гулянья. Медленно кружится густая толпа, проплывают в ее водоворотах белые войлочные шляпы, темно-красные фески, яркие мужские головные повязки, пестрые венки из бумажных цветов, темные войнички.

И вдруг толпа расступается, пятится, образуя круг. В середину его выбегают музыканты — вскрикивают скрипки и тростянки, звякает бубен; начинается молдавский хоровод — жок. Схватившись за руки, откинувшись назад, скидывают плясуны ногами — жок-жок-жок, а потом, выпрямившись, вколачивают пятками в землю пыль — жок-жок-жок. Мелькают узорные ичаги, деревянные сандали, самодельные чуни, задубевшие босые ноги — жок-жок-жок. Хоровод вертится пестрым колесом, быстрее, все быстрее, притошывает, припрыгивает, все звонче тукает бубен, все чаще бьют по струнам смычки, и вот дружный вскрик, и вдруг все встало — ж-жок!

Пушкин любил эти гулянья, любил замешаться в праздничной толпе, вдыхать ее звероватый запах, следо-

вать ее ленивому колыханью — к площадке, где борются силачи, качелям, взлетающим в небо, к медведю, ломающемуся под окрики вожака-цыгана, к полосатому балагану, где музыканты играют полюбившуюся всем песню, а толпа подпевает, раскачиваясь: «пом, пом, пом», к чайным и кофейням под навесами, где сидят степенные люди, пьют крепкий душистый чай, черный турецкий кофе, курят и ведут неторопливые беседы о торговле, о вине, о войне.

Все своеобразное, необычное, диковатое, что было здесь, влекло Пушкина, занимало его воображение. Интересовали его песни и сказанья всяких народов, он их искал, слушал, переводил с чьей-нибудь помощью.

Сочиненное им стихотворение «Гляжу, как безумный, на черную шаль» обозначил он как «молдавскую песню». С необычайной быстротой распространилась «Черная шаль» в Кишиневе и пошла по другим городам. Где же слышал эту песню Пушкин? И слышал или вдохнул ее вместе с молдавским ветром?

Много песен знала Калипсо Полихрони — гречанка, бежавшая из Константинополя со своей матерью-вдовой. Калипсо вызывала любопытство: говорили, она была любовницей Байрона. Большеносая, похожая на птицу, она была нехороша — худая, с нарумяненными впалыми щеками.

Пела она на восточный манер, слегка в нос, и ее громадные глаза, подведенные сурьмой и от этого еще более огненные и глубокие, сопровождали песню артистической игрой, как и руки ее, тонкие, сухие, звенящие браслетами. В эти минуты казалась она Пушкину прекрасной:

Ты рождепа воспламенять  
Воображение поэтов,  
Его тревожить и пленять...

Лазурь небес чужих, все богатство южных красок — моря, гор, холмов, покрытых зреющим виноградом, сте-

пей, опаленных солнцем, — все, что увидит и услышит поэт: незнакомые речи, веселые и печальные песни — переплавится в его душе и удивит мир красотой новой и совершенной.

Не стану я жалеть о розах,  
Увядших с легкою весной;  
Мне мил и виноград на лозах,  
В кистях созревший под горой,  
Краса моей долины златной,  
Отрада осени златой,  
Продолговатый и прозрачный,  
Как персты девы молодой.

### Вольполюбивые надежды оживим...

В ноябре 1820 года Пушкин уезжает с братьями Давыдовыми, Василием и Александром Львовичами, в имение их матери — Каменку. Инзов отпускает его.

В Каменке собирается несколько членов тайного общества, будущих декабристов. Приезжают и родные Давыдовых. Весь этот съезд приурочен к Екатерину дню, именинам владелицы имения.

«...Теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского, — пишет Пушкин. — Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше... разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя...»

В Каменку приехали: Раевский с сыном Александром (из Киева), Орлов и Охотников (из Кишинева). А с ними Иван Дмитриевич Якушкин — деятельный член Союза благоденствия. Он прибыл из Москвы, где вскоре должен был собрать совещание представителей Севера и Юга.

Пушкин о тайном обществе не знал. Неведомо было ему, что под прикрытием святой Екатерины в Каменке собрались члены Южной управы, заговорщики.

Якушкин вспоминает в своих «Записках»:

«Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятьями. Я познакомился с ним в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева...

Через полчаса я был тут, как дома... Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать...».

Говорили и о стихах Пушкина.

«...Я ему прочел его Ноё! : «Ура! в Россию скачет...», — пишет Якушкин, — и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть».

Рассказывает Якушкин и о сцене, разыгранной нарочно, чтобы избавиться от пристального внимания Александра Раевского. Он подозревал уже, что гости явились не только на именины.

«...Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, и вечерние беседы наши для всех для нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все, происходящее вокруг него. Он не верил, чтоб я случайно заехал в Каменку... В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я стоворились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского... Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России?»

Якушкин начал доказывать, что в России невозможно существование тайного общества, которое было бы хоть сколько-нибудь полезно. Раевский стал ему возражать.

Якушкин спросил у Раевского, серьезно ли он говорит, и присоединился ли бы он к такому обществу, если бы оно существовало. Раевский ответил, что присоединился бы.

«В таком случае давайте руку», — сказал Якушкин. Раевский протянул руку, но Якушкин расхохотался, сказав:

«Разумеется, все это только одна шутка». Другие также смеялись, кроме А. Л. <Давыдова>... который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь: я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен».

Все разъехались, лишь Пушкин загостился в Каменке. Написали Инзову, что он болен, получили ответ — не отпускать, «пока не получит укрепления в силах». В конце января Пушкин отправился с Давыдовыми в Киев, затем в Тульчин и обратно в Каменку. Только в марте вернулся он к Инзову.

...я знал и труд и вдохновенье...

Танцы, карты, штосс или банк, дружеская беседа, бильярд, кофейные и рестораны, путешествия, официальные визиты, встречи с друзьями, любовные свидания, упражнения в стрельбе, политические разговоры, собрания масонов, дуэли — все это не могло заслонить главное: поэзию, творчество. На Юге написано около ста стихотворений, четыре поэмы, закончены две главы и начата третья романа в стихах «Евгений Онегин».

Стихи приходили неожиданно. Они начинались и в тишине и в шуме, в одиночестве и в толпе, в движении и

в покое. Стихи могли начинаться музыкой, мотивом, ритмом. Сначала они выпевались без слов, вышагивались в ходьбе. От стихов случалось внезапно умолкнуть, ничего и никого не слышать, не отвечать, не отзываться. Потом появлялись слова, рифмы. Тогда требовалась бумага, перья, чернильница. И тогда нужно было остаться одному.

На людях писать Пушкин не мог и, если его заставляли за работой, написанное прятал.

Липранди рассказывает, что он видел во время поездки с Пушкиным в Измаил:

«В этот день я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги.

— Не добрались ли вы до папиютков Ирены? (свояченицы хозяина) — спросил я его. Он засмеялся, подобрал все кое-как, положил под подушку... Опорожнив графин систовского вина, мы уснули. Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руках перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову. Увидев меня проснувшимся же, он собрал свои лоскутки, стал одеваться...»

Из имущества масонской ложи, тогда закрытой, Пушкину достались большие переплетенные тетради, вернее, альбомы. В трех таких альбомах писал он на Юге.

Работу в уединении, в тихие ночные часы, рисует поэт в стихотворении «К моей чернильнице». Комната видится ему кельей, сам он — отшельником. Он говорит со своей чернильницей, и она представляется ему живой участницей его труда.

Подруга думы праздной,  
Чернильница моя,  
Мой век разнообразный  
Тобой украсил я.

Под сенью хаты скромной  
В часы печали томной  
Была ты предо мной  
С лампадой и мечтой. —  
В минуты вдохновенья  
К тебе я прибегал  
И музу призывал  
На пир воображенья.  
Прозрачный, легкий дым  
Носился над тобою,  
И с трепетом живым  
В нем быстрой чередую...

Тут стихотворение прерывается, средняя часть его не сохранилась. Но можно понять, что хотел сказать поэт. Позднее, в стихотворении «Осень», он изобразит это другими словами:

И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Легкие, вдохновенные часы. Стремительно бегут по листам «масонских» тетрадей чернильные строки. Многие слова не дописаны: рука не успевает за мыслью.

И под вечер, когда  
Перо по книжке бродит,  
Без вялого труда  
Оно в тебе находит  
Концы моих стихов  
И верность выраженья;  
То звуков или слов  
Нежданное стеченье,  
То едкой шутки соль,  
То правды слог суровый,  
То странность рифмы новой,  
Неслышанной дотоль.

Все, созданное наедине, непременно должно быть отдано читателю: прочитано друзьям, напечатано в журнале, в книге. Без этой второй части — отдать все людям — нет полноты творчества.



Пушкину в Кишиневе недостает друзей-литераторов; говорить о литературе не с кем. «...Пишу как-нибудь, не слыша ни оживительных советов, ни похвал, ни порицаний...» — жалуется он Н. И. Гнедичу. Нет в далекой провинции литературной среды. Пушкин говорит друзьям: «Здесь не слышу живого слова европейского...», «...здесь у нас молдованно и тошно...».

Средоточие литературной жизни было на Севере. Все, что происходило там, интересовало Пушкина самым живейшим образом: он хотел читать новые стихи и прозу, быть в курсе журнальной полемики, спорить с друзьями.

«Ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да с Вяземским», — пишет Пушкин Александру Бестужеву, отзываясь на его литературные обзоры в «Полярной звезде». Он сердился на брата, когда задерживалась присылка журналов, досадовал на друзей, если они писали мало или редко.

С интересом следил Пушкин за «чернильной войной» между «Сыном Отечества» Греча и «Вестником Европы» Каченовского из-за «Руслана и Людмилы». На каждый выпуск «Полярной звезды» Бестужева и Рылеева он отзывался письмом-рецензией. Он восхищался стихами Баратынского («Баратынский — прелесть и чудо, Признание — совершенство»), сердился на Рылеева за ошибку в стихах («...у вас пишут, что луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого»), но «прощал» его за поэму («с Рылеевым мирюсь — «Войнаровский» долон жизни»). Он хотел знать мнение Дельвига и Баратынского о последних стихах Кюхельбекера. Его интересовали критические отзывы о «Кавказском пленнике», особо он дорожил мнением Чаадаева.

Это был кипучий, неустанный интерес к современной литературе, и никакое расстояние не могло его пригасить.

Печататься Пушкин мог только на Севере — там были журналы, там были друзья. Три года переписывался Пушкин по издательским делам с братом, с друзьями —

Н. И. Гнедичем, А. А. Дельвигом, П. А. Вяземским, А. А. Бестужевым.

Почта шла до столицы медленно, долго: полторы тысячи верст на лошадях. Нелегко было договориться об изданиях, исправлять ошибки наборщиков и промахи друзей-издателей.

Но была еще одна, более серьезная трудность — царская цензура, охранявшая общество от «свободомыслия» и «безнравственности». Пушкин, конечно, и не пытался провести через цензуру такие стихи, как «Кинжал» или «Послание к цензору», — они расходились в списках. Но цензор Бируков придирался к любым произведениям поэта, требовал замены отдельных строк и слов — порой совершенно бессмысленно.

Прошелся он и по тексту «Кавказского пленника», изданного в 1822 году Гнедичем. Получив экземпляры поэмы, Пушкин пришел в ужас от множества цензурных поправок, но, чтобы не огорчать Гнедича, сделал вид, что мирится с ними.

Бируков, например, счел безнравственными следующие строки:

Немного радостных ночей  
Судьба на долю ей послала...

Он переправил «ночей» на «ей дней», «послала» заменил словом «ниспослала».

Собираясь переиздавать «Пленника» в 1823 году (переиздание взял на себя Вяземский), Пушкин стремился восстановить текст поэмы и тут с полной откровенностью высказал свое отношение к цензурным поправкам в первом издании.

«Зарезала меня цензура! — пипет он Вяземскому. — Я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать *ей дней* в конце стиха. Ночей, ночей — ради Христа, *ночей Судьба на долю ей послала*». И чем же ночь неблагопристойнее дня? Которые из 24 часов именно противны духу нашей цензуры?»

Ссылному поэту невозможно было воевать с цензурой непосредственно, но письма к друзьям полны мольбы — не давать Бирукову корезить его произведения!

Самому Пушкину в этой борьбе оставалось лишь испытанное оружие — сатира. «Читал ли ты мое послание к Бирукову? — спрашивает поэт Вяземского, — если нет, вытребуй его от брата или от Гнедича...»

Пушкин требовал уважения и доверия к писателю, вступался за русскую литературу — молодую, еще не окрепшую.

«...Стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется, лучше бы дельно приняться за Бируковых...»

Но не только Бируков защищал самодержавие от смелой мысли и острого слова. На страже стояли верные слуги деспотизма, явные и тайные, им тоже было дело до литературы. Аракчеев ябедничал царю: «Известного вам Пушкина стихи печатают в журналах, с означением из Кавказа, видно для того, чтобы известить об нем подобных его сотоварищей и друзей».

Генерал-полицмейстер 1-й армии И. Н. Скобелев делился с начальством своими соображениями, как искоренять вредные сочинения: надо пороть сочинителей, вот и все. «Если бы сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше. На что снисхождение к человеку, над коим общий глас благомыслящих граждан делает строгий приговор?»

Генералу сообщили о стихах, которые ходили под названием «Мысль о свободе». Сам он не читал «вредных стихов». Говорят, эти — Пушкина. О Пушкине он кое-что слышал: сочинитель сей имел «изрядные дарования», но был вертопрах. Генерал-полицмейстер не прочь был выпороть «вертопраха».

Поэт, изгнанный из столицы за стихи, особенно за оду «Вольность», не был ни покорен, ни сломлен. Но временами ему делалось страшно. Ссылка без указания срока: не навсегда ли оторван он от своих друзей? Не будет ли забыт, не пропадет ли в неизвестности?

Восемнадцать столетий назад в краю, названном потом Бессарабией, жил и погиб другой изгнанник — римский поэт. Стихотворное послание «К Овидию», написанное Пушкиным в Кишиневе, — раздумье над судьбой поэта-изгнанника, над своей судьбой.

Читая и перечитывая стихи славного римлянина, Пушкин живо представляет его безысходную тоску, ожидание одинокой смерти на чужбине, попытки умилоствовать императора Августа, вернуться в родные места.

Овидий, я живу близ тихих берегов,  
Которым изгнанных отеческих богов  
Ты некогда принес и пепел свой оставил.  
Твой безотрадный плач места сии прославил,  
И лиры нежный глас еще не онемел;  
Еще твоей молвой наполнен сей предел.  
Ты живо впечатлел в моем воображеньи  
Пустыню мрачную, поэта заточенье...

Свое изгнание Пушкин не ощущает столь трагично. Он не осуждает Овидия, но сам находит поддержку в гордой стойкости: он не будет молить о пощаде, просить прощенья.

Суровый славянин, я слез не проливал,  
Но понимаю их...

Тревога временами прорывается в «Послании», но заканчивается оно успокоенно, светло: душевная гармония обретена в единении с природой, в творчестве.

Здесь, оживив тобой мечты воображенья,  
Я повторил твои, Овидий, песнопенья  
И их печальные картины поверял;

Но взор обманутым мечтаньям взмечал.  
Изгнание твое пленяло втайне очи,  
Привыкшие к снегам угрюмой полуночи.  
Здесь долго свстится небесная лазурь;  
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь,  
На скифских берегах переселенец новый,  
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,  
Скитался я в те дни, как на берега Дуная  
Великодушный грек свободу вызывал,  
И ни единый друг мне в мире не внимал;  
Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,  
И музы мирные мне были благосклонны.

«Певец изгнанный» остается певцом. Поэт всегда и везде поэт. В ссылке — тоже. Ему запретили свободно передвигаться, но нельзя запретить ему свободно творить.

Послание «К Овидию» Пушкин ставил высоко и очень хотел напечатать. Он отправил стихотворение вместе с другими Бестужеву для альманаха «Полярная звезда». Он писал:

«Посылаю вам мои бессарабские бредни и желаю, чтобы они вамгодились. Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей приятельнице... Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию, но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа — по-видимому, ее настращали моим именем: не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно...»

Бестужеву удалось выполнить этот план. Стихотворение «К Овидию» было напечатано в «Полярной звезде» на 1823 год, вместо подписи стояли две звездочки.

Пушкин, получив от Бестужева альманах, в радостном настроении писал брату: «Каковы стихи к Овидию? душа моя, и Руслан, и Пленник, и Noël, и всё дрянно в сравнении с ними. Ради бога, люби две звездочки, они обещают достойного соперника знаменитому Панаеву, знаменитому Рылееву и прочим знаменитым нашим поэтам».

Шел третий год жизни в Кишиневе. Пушкин тосковал по Северу, Петербургу, друзьям. В начале 1823 года отправил он прошение об отпуске. Александр I ответил коротко: «отказать». Вот когда назначение открылось в своей истинной сути: бессрочная ссылка. Пожизненная? Кто знает...

Весной Пушкин затосковал.

«На днях получил я письмо от Беса-Арабского Пушкина, — пишет Вяземский А. И. Тургеневу в Петербург. — Он скачает своим безнадежным положением...»

В Петербург пришли стихи поэта, названные «Прощание», и уже ходят по городу под названием «Прощание с жизнью». Друзья в тревоге. Тургеневу стало известно, что бессарабским и новороссийским генерал-губернатором назначен граф Михаил Семенович Воронцов. «Не знаю еще, отойдет ли к нему и бес арабский?» — этот вопрос занимает Тургенева. Переход к Воронцову означает переезд в Одессу — здесь резиденция графа. Одесса город европейский, а Воронцов, считают друзья, не сравним с Инзовым — он образован, тонок, не чужд прогрессивных мыслей, словом, европеец. И друзья начали действовать. О результатах Тургенев отчитывается перед Вяземским:

«О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или Инзова. Граф Нессельроде утвердил первого... Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дела не станет... Впрочем, я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Ба-

тюдикова — в Италию — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?»

Тургенев испытывал смутную тревогу — в «меценате» он не уверен. А Пушкин уже был в Одессе — по доброте Инзова: выпросился у него на лечение морскими ваннами. На ванны он не ходил, но почувствовал себя сразу лучше.

«...Я оставил мою Молдавию и явился в Европу — ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу...» — пишет Пушкин брату.

Однако, как только поездка в Одессу превратилась в назначение, настроение у Пушкина упало.

«...Приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда навсегда, — о Кишиневе я вздохнул».

Может, это было предчувствие? Отношения с графом сложились плохо.

Успокаивало, радовало море. Рано утром Пушкин купался, плавал, набирался бодрости, под вечер часами гулял по берегу. Море — то тихое, перламутровое, с отсветами вечерней зари, то беспокойное, темно-синее, фиолетовое, исчерченное белыми барашками, то бурное, коричнево-зеленое, изрытое пенистыми ямами — всегда влекло поэта. Море будило мысли о воле, непокорности, звало в другие страны — чужие, далекие, но свободные. На берегу он мечтал: обдумывал план побега, вольной мыслью достигая иных берегов.

В европейской Одессе Пушкину было неприятно, одиноко. Не хватало кишиневских друзей, кишиневской простоты, доброго, заботливого Инзова. Людей, действительно близких, не было. Был приятель Туманский, заурядный поэт и пресный человек. Был Александр Раевский —

друг? недруг? — неприятный Пушкину позою мрачного разочарования, чрезмерным скептицизмом, манерой ввинчивать свои зрачки в глаза собеседника. С ним бывало интересно, но чаще — тяжко. Из милых сердцу наезжали «кишиневцы» — М. Ф. Орлов, И. С. Алексеев, И. П. Липранди, были и новые знакомства из круга Орлова. Случались забавные встречи. Развлекал его мавр Али, капитан торгового судна, родом из Туниса. Пушкин с ним болтал, возился по-ребячески и говорил, что у него «лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой родней».

В тетрадах поэта, в черновых рукописях «Евгения Онегина», все чаще появляется тонкий профиль, изящная женская головка с легкими завитками, выбившимися из прически. Это Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Она приехала в Одессу в сентябре. Пушкина поразила ее тонкая красота, грациозная женственность, изящество ума, он был очарован, он влюблен. Позже, вспоминая, поэт назовет свое чувство «могучей страстью».

Пушкин бывал в числе постоянных гостей на половине графини, а на половине графа появлялся лишь по обязанности подчиненного.

Летом Воронцова жила на даче Рено, они с Пушкиным часто гуляли по берегу моря, спускаясь с кручи на узкую полоску влажного песка, где едва удавалось пройти. Там в раселинах скал можно было укрыться от палящих лучей солнца, от чужих глаз.

Приют любви, он вечно полн  
Прохлады сумрачной и влажной,  
Там никогда стесненных волн  
Не умолкает гул протяжный.

Разделенная любовь захватила Пушкина. Он не замечал, что за ним следят глаза — пронизательные, ревнивые: Александр Раевский влюблен в графиню. Обостренные вражды между Пушкиным и графом было ему на



руку, он вел двойную игру: восстанавливал Воронцова против Пушкина, подогревал ненависть Пушкина к Воронцову.

Когда, любовью и негой упоенный,  
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,  
Я на тебя глядел и думал: ты моя,  
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;  
Ты знаешь: удален от ветреного света,  
Скучая суетным прозванием поэта,  
Устав от долгих бурь, я вовсе не вшмал  
Жужжанью дальнему упреков и похвал.  
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,  
Когда, склонив ко мне томительные взоры  
И руку на главу мне тихо вложив,  
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?  
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?  
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?  
А я стесненное молчанье хранил,  
Я наслаждением весь полон был, я мнил,  
Что нет грядущего, что грозный дель разлуки  
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,  
Измены, клевета, все на главу мою  
Обрушилося вдруг...

Весной 1824 года Воронцов шлет в Петербург письма — официальные, полуофициальные. Он просит убрать Пушкина из Одессы. Он дает понять — среди молодежи, окружающей Пушкина, происходит брожение умов, предупреждает: летом, в купальный сезон, вредное влияние поэта непременно расширится. Воронцов опасается: вдруг Пушкина просто вернут в Кишинев? Нет, его надо угнать далеко. «Меценат» заботится о поэте: «...его необходимо удалить в тихое место, где нашел бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий».

Воронцов усиливает слежку за Пушкиным: она поручена двум чиновникам, полиции.

Граф наслаждается своей властью над поэтом: «Что же касается Пушкина, то я говорю с ним не более 4 слов в две недели; он боится меня, так как знает прекрасно,

что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его на свою обузу...»

С самоуверенностью знатока рассуждает Воронцов о поэзии Пушкина: «...он только слабый подражатель малопочтенного образца (лорд Байрон), да кроме того только работой и усидчивым изучением истинно великих классических поэтов он мог бы оправдать те счастливые задатки, в которых ему нельзя отказать».

Давно уже открылась Пушкину сущность его нового начальника: «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист».

Письма графа о поэте доказывают меткость этой характеристики.

В Одессе Пушкин почти все время хандрит: «...скучно, моя радость! вот припев моей жизни» (из письма к Дельвигу).

Брату он пишет с окаянней более подробно: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича (имеется в виду царь. — *Н. Б.*) о своем отпуске через его министров — и два раза воспоследовал все милостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпещ... Душа моя, меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть?»

Вероятно, долго: в Испании и Италии революционное движение задавлено, Греция в борьбе за свободу потерпела поражение — мировая реакция поднимала голову.

Пушкин вопрошал с горечью:

Кто, волны, вас остановил,  
Кто оковал ваш бег могучий,  
Кто в пруд безмолвный и дремучий  
Поток мятежный обратил?..

Воронцов не хочет ждать решения из Петербурга, он торопит развязку. Пушкин получает предписание немедленно выехать в три уезда: собрать сведения о борьбе с саранчой, обследовать поврежденные места и проверить результат от принятых мер. Пушкин подает в отставку.

Однако принять отставку — значило бы освободить поэта: выйдя из службы, избавлялся он от назначения. Угадывая волю императора, начальствующие над Пушкиным ждали случая, который поможет заменить назначение наказанием.

Вскоре случай нашелся. Пушкин, забыв свой собственный афоризм — «Сходнее нам в Азии писать по okazji», отправил почтой письмо, в котором было написано:

«...Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил...»

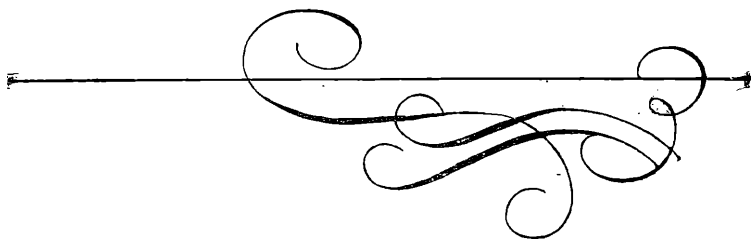
Письмо было перлюстрировано. Вот, наконец, и предлог для расправы. По сути дела ничего криминального в письме не было, но суть никого не интересовала. Письмо было доставлено императору. Оно подкрепляло доводы Воронцова. Царь приказал «в видах законного наказания» исключить Пушкина из списков чиновников «за дурное поведение» и «удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства».

Опасения А. И. Тургенева сбылись: перевод Пушкина из «азнатского заточения» в Одессу кончился плохо.

24 июля 1824 года Пушкину было объявлено о «высочайшей воле», а 31-го он уже выехал с верным своим спутником Никитой Козловым в Михайловское по предписанному маршруту. Из него исключались Киев, Москва, Петербург. Пушкин лишился встречи с родными и друзьями, которых не видел более трех лет.

Пыльные степные дороги вновь приняли изгнанника в свои жаркие объятия. Они вели в новую ссылку, опять бессрочную, в глухие места.

## В ГЛУШИ ЛЕСОВ СОСНОВЫХ



И был печален мой приезд...

**9** августа 1824 года запряженная парой коляска спешила по дороге из Опочки в Святые Горы. Было пасмурно, ветрено. Низко неслись серые клокастые тучи. Дождь стучал в поднятый верх коляски, посвистывал встречный ветер, шуршал мокрый песок под колесами. Усталый путник, склонив курчавую голову, слушал этот унылый шум, похожий на шипение волн, сползающих с берега в море. Море было далеко, более полутора тысяч верст. Море было позади, и шумная Одесса, и любовь Elise, и солнце — все было позади. Будущее было мутно и серо, как эти дождливые даи. А может, нет никакого будущего. Ссылка в псковскую глушь, бессрочная, вторая на двадцать шестом году жизни...

И все же, когда сквозь завесу дожда забелел монастырский собор на высоком холме, путник принял этот привет родных мест с добрым чувством.

### Третий приезд Пушкина в Михайловское...

Семья Пушкиных жила этим летом в деревне. Александр был рад увидеть родных. Но жить вместе в маленьком шестикомнатном доме, не иметь уединения, покоя, свободы, он знал, будет тягостно, а в теперешнем его состоянии, — тоска его мучила, бессильная злоба, — может, и совсем непереносимо.

Так и получилось. После объятий, радостных восклицаний, слез начались въедливые расспросы, затем попреки. Как мог он не ужиться с графом Воронцовым? Такой обаятельный, такой высокообразованный человек! Сергей Львович закидывал голову, закрывал глаза, недоуменно разводил руками. «Что теперь ждет всех нас?» — спрашивал он у сына. «Надо было подумать о сестре, о ее будущем», — вторила Надежда Осиповна, прикладывая изящным движением кружевной платочек к глазам.

С первых же дней дом сделался несносен. Пушкин мог еще быть с няней, с Левушкой, может быть, с Олей, но больше всего он хотел одиночества, только одиночества. С ним придет исцеление.

Успокоение находил Пушкин в верховой езде, в быстрой ходьбе. Бешеная скачка по лугам и полям чередовалась с тихой проездкой по лесным тропам. Он объезжал и обходил знакомые, полюбившиеся еще в прежние годы места: озеро Маленец, сидящее, как в чаше, между двумя холмами, стройную сосновую рощу на высоком берегу, крутобокую, как кулич, гору, поднимающую высоко древний каменный крест. У его подножия, у старого камня с надписью «Лето 7021 постави крест Сава поп», мог сидеть Пушкин часами, глядя на извивы Сороти, на далекие заречные луга, на гладь большого озера в низких берегах — Кучане.

Отсюда, с древнего городища, открывался Пушкину весь край — и земля, и вода, и небо. И был он красив и бесконечно разнообразен, этот край, — от света, от трав

и знаков, волнующихся на ветру, от плывущих по небу облаков, от пробегающих по лугам теней их. Древняя псковская земля, Русь. Дедовские владения. На другом берегу Кучане, как дальняя туча, темнели деревья петровского парка.

Отсюда, от Савкиной горки, совсем близко до другого городища — Воронича. Это одна из трех гор Тригорского — соседнего имения.

В Тригорском — женское царство, и правит им Прасковья Александровна Осипова, пожилая вдова, схоронившая двух мужей. Она неплохо управляет своим имением и семейством, содержит и воспитывает семерых детей — сына, студента Дерптского университета Алексея Вульфа, трех взрослых дочерей и падчерицу да еще двух маленьких дочек.

В приземистом большом доме под высокой крышей, похожем на сарай, всегда шумно и весело — бренчит фортепьяно, звенит смех, щебечут девичьи голоса. Пушкину здесь все рады. Он окружен вниманием, им восхищаются, его знают наизусть. При его появлении ярче блестят глаза, разгораются щеки, грациознее поворачиваются головки. Он становится центром этого мирка и определяет его жизнь и настроение на много часов. Это приятно, это ему льстит. Тут весело, тут отвлечется он от грустных мыслей, не будет слышать сетований, жалобных вздохов. Но временами и тригорские девы делаются для него несносны, — их готовность смеяться каждой его шутке, покорность его взгляду, нарочитость интонаций раздражают Пушкина. Он мрачнеет, умолкает. Они переглядываются, затихают, они чувствуют — поэт творит. А он торопится уехать и по дороге думает, что тригорские барышни несносные дуры и надоели ему до смерти.

Скучно, скучно, скучно... «Скучно, вот и все». «Умираю, скучно...», «Скука — холодная Муза», — жалуется Пушкин в письмах к друзьям осенью 1824 года.

## В обители пустынных выюг и хлада...

И все же он писал. Скука, тоска порождали стихи, полные унынья.

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла  
По небу стелется одеждою свинцовой;  
Как привидение, за рощею сосновой  
Луна туманная взошла...  
Всё мрачную тоску на душу мне наводит.  
Далеко, там, луна в сиянии восходит;  
Там воздух напоен вечерней теплотой;  
Там море движется роскошной пеленой  
Под голубыми небесами...  
Вот время: по горе теперь идет она  
К брегам, потопленным шумящими волнами;  
Там, под заветными скалами,  
Теперь она сидит, печальпа и одна...

Она и море — вот чем полна его душа. Шум моря слышится ему по вечерам. Он звучит в завывании осеннего ветра, налетающего на старые ели в парке, в струях дождя, стекающего по крыше. Она — Elise, Елизавета Воронцова. Ее имя созвучно античному названию царства мертвых — Элизий. Ему нравится повторять это слово:

И Кереры дочь уходит,  
И счастливица за собой  
Из Элизия выводит  
Потаенною трюмой;  
И счастливец отпирает  
Осторожною рукой  
Дверь, откуда вылетает  
Сновидений ложный рой.

Это стихи о тайной любви Прозерпины. Об их любви. Первые трудные месяцы ссылки, напряженная атмосфера дома, в котором он не чувствовал себя дома, — все это нелепое существование кончается страшным взрывом. Не довольствуясь взятой с поэта подпиской «жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благо-

правно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни...», псковский губернатор Адеркас ищет постоянного «попечителя» из окрестных дворян для надзора за ссыльным.

В Михайловское приходит «бумага» на имя Сергея Львовича, касающаяся надзора за Пушкиным. Поэт требует у отца объяснения. Им овладевает приступ гнева, ганнибаловского бешенства. Он кричит, угрожающе наступая на отца. Как может дворянин быть шпионом? Как может отец шпионить за сыном? Почему он не швырнет в лицо предводителю опочечного дворянства Пещурову его гнусное предложение?!

Сергей Львович выбегает из комнаты. Прерывающимся голосом кричит он на весь дом, что *ce fils dénaturé, ce monstre\** хотел его прибить. На шум сбегается дворян. Пушкин вылетает из дома, взмахивает на оседланного коня и вихрем — за ворота усадьбы...

На следующий день его охватывает внезапный страх — мерещатся новые беды: жалобы отца... уголовное обвинение... сибирские рудники...

Ему нужен покой! Тишина! Где угодно, но — тишина! В отчаянии он пишет Жуковскому: «Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем».

Поздней осенью в Михайловское приходит спокойствие. В начале ноября уезжают брат и сестра, в середине — родители. Пушкин остается один с Ариной Родионовной. Осень, как обычно, вступает в свои права: Пушкина охватывает желание работать. Он больше не бежит из дома, его тянет к письменному столу.

Становится холодно. Старый дом плохо утеплен, не в порядке печи, с холодами закрывают одну за другой комнаты, и наконец Пушкин оказывается в одной, окнами на юг, во двор. Здесь и кабинет его, и столовая, и

---

\* Этот выродок-сын, это чудовище (*франц.*).



спальня. А через прихожую — комната няни. Остальные, что окнами на север, на Сороть, — не топят. Тихонько посвистывает в них ветер, проникающий сквозь щели, старые рамы.

Ветер налетает на дом с реки, с озер и полей. Стучит ставнями, ударяет в стены, воет в трубах. Уже сорвал он последние листья с деревьев, принес первые колючие крупинки снега. В осеннюю непогоду по вечерам маленький темный дом, в котором светятся лишь три окна, кажется затерянным и забытым в глуши сосновых лесов.

А где-то далеко кипит и шумит жизнь, сверкают в хрустальных люстрах огни, отражаясь в навощенных паркетах, заливают светом гостиные, залы, фойе театров. Светятся окна и витрины на больших улицах, колеблются огоньки в фонарях экипажей... Пламя свечей в бронзовых канделябрах освещает лица собравшихся за дружеской беседой.

В Михайловском темно, одиноко, тоскливо. Долгие осенние вечера. Только почта связывает Пушкина с далекой светлой жизнью. Письма — письма друзей, письма к друзьям. К Жуковскому, Вяземскому, Дельвигу, Плетневу, Рылееву, Бестужеву, Раевским... Друзья успокаивают, уговаривают, утешают, призывают к терпению, оберегают от опрометчивых поступков. Иногда бранят. Стараются развлечь, занять новостями. Говорят об исключительности его таланта, который он должен беречь.

«Великий Пушкин, маленькое дитя! — обращается к другу Дельвиг. — ...Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради!»

«Ты имеешь не дарование, а гений, — пишет Жуковский. — Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья... Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! Я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю,

что он не утонет... Читал Онегина и Разговор, служащий ему предисловием: несравненно!»

Пушкин отсылает письма два раза в неделю и дважды их получает.

«Расписание, в какие дни из Санкт-Петербургского Императорского Почтамта приходит и в какие уходит белорусская почта с почтовых станций в Острове, Опочке, Новоржеве и Синске.

Приходит: по понедельникам и пятницам.

Отходит: во вторник и пятницу».

Листок с расписанием висел в конторе управляющего именем Калашникова. В эти дни надо было отправить нарочного — с письмами, за письмами, за журналами.

Бывают дни, целиком посвященные разговорам с далекими друзьями. А в иные дни пишет Пушкин и по два письма одному лицу. Это брат Лев, к нему всегда обращено множество просьб и поручений.

«...Книг, ради бога книг!», «Стихов, стихов, стихов!», «Библию, библию! и французскую непременно». «Ах, боже мой, чуть не забыл! Вот тебе задача: историческое сухое известие о Сеньке Разине...» «Жизнь Емельки Пугачева, Путешествие по Тавриде Муравьева...» «Пришли мне бумаги почтовой, и простой, если вина, так и сыру, не забудь и (говоря по Делилевски) витую сталь, пронзающую засмоленную главу бутылки, — т. е. штопер». «Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь в уксусе — да книг: *Conversations de Vugon, Mémoires de Fouché*\*, Талию, Старину... Хотел бы я также иметь *Новое Изд<ание> Собр<ания> Рус<ских> Стих<отворений>*\*\*», да дорого — 75 р. Я за всю Русь столько не даю. Посмотри однако ж».

\* Сочинения Байрона, Мемуары Фуше (франц.).

\*\* «Русская Талия» — театральные альманахи, Спб., 1825; «Русская старина» — исторический альманах, Спб., 1825; «Собрание русских новых стихотворений, вышедших в свет с 1821 по 1823 г.».

В письмах — получаемых, посылаемых — даются рецензии, литературные обзоры, развертываются дискуссии, особенно в переписке с Вяземским, Александром Бестужевым, Рылеевым.

Двое последних видят предназначение поэта в развитии гражданской темы, в романтизации русской старины. «...Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы» (К. Ф. Рылеев).

Они не удовлетворены первой главой «Евгения Онегина», недавно изданной. «...Я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает... Стоит ли вырезывать изображения из яблочного семечка... когда у тебя в руке резец Праксителя?» (А. А. Бестужев). «Не знаю, что будет Онегину далее: быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с Дон Жуаном, но теперь он ниже Бахчисарайского фонтана...» (К. Ф. Рылеев).

Пушкин отвечает обоим в письме к Бестужеву:

«Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки, все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с Д<он> Ж<уаном>. — Никто более меня не уважает Д<он> Ж<уана>... но в нем ничего нет общего с Онег<иным>. ...Дождись других песен... 1-ая песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу... Жду П<олярной> З<везды>. Давай ее сюда».

Бывало так: письма не писались, ничего не писалось. Не было сил. Все силы уходили на ожидание. Он ждал: ждал зимы, снега, ждал писем, ждал друзей. Ждал перемен. Каких? Каких-нибудь. Ждал, когда стихи пойдут. «Сижу дома да жду зимы», «Жду к себе на днях брата и Дельвига — покаместь я одип-одинешенек; живу недо-

рослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут», — писал он Вяземскому 25 января 1825 года.

Песен и сказок записал Пушкин множество — от няни, от девушек, певших за рукодельем. Он погружался в русскую стихию, восхищаясь, с наслаждением, волнуясь, удивляясь. И на лежанке валялся не зря: вскоре родились первые стихи «Пролога» — «У лукоморья дуб зеленый», начали выпеваться, пока еще без записи, песни о Степане Разине, совершенно в народном духе. Две протяжные с такими зачинами: «Как по Волге-реке, по широкой выплывала остроносая лодка» и «Что не конский топ, не людская моль», да одна в ритме плясовой — «Ходил Стенька Разин в Астрахань город».

На смену дням серым, вялым приходили яркие, быстрые. Начинался прилив энергии, кипение бешеной силы. Хотелось делать много, скорей, все сразу: издавать первую главу Онегина (непреренно с «картинкой», такой именно — он сам ее набрасывал), готовить к печати первый сборник стихотворений (надо выволить у Всеволожского когда-то проигранную ему тетрадь, где собрал он в 1820 году все написанное), закончить третью главу «Онегина», начать четвертую, переписать дописанных «Цыган», вернуться к черновым наброскам «Подражания Корану», работать над новой трагедией, навеянной псковскими древностями, но очень современной по содержанию, — уже и план готов, и вчерне разные сцены, есть и название, стилизованное под старинные русские драмы, под летописи, — оно ему нравилось: «Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве — писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче».

Издавать сам Пушкин, конечно, ничего не мог, все труды и хлопоты взял на себя преданный друг Петр Александрович Плетнев. Помогал ему (а порой и мешал!)

непутевый Левушка. Пушкин с радостью, издалека, в письмах, входил в детали. Вот как пишет он об издании первого сборника стихотворений:

«Брат Лев  
и брат Плетнев!

Третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое спил на живую нитку. Но с вашей помощью надеюсь, что барыня-публика меня по щекам не прибьет... Виньетку бы не худо; даже можно, даже нужно — даже ради Христа, сделайте; именно: *Психея, которая задумалась над цветком...* Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого... —

Нет! слишком дорого!  
А ужась, как мила!

...Что сказать вам об издании? Печатайте каждую пиесу на особенном листочке, исправно, чисто... и пожалуйста без ~ ~ и без \* — и без =; вся эта пестрота безобразна и напоминает Азию. Заглавие крупными буквами — и à la ligne\*. Но каждую штуку особенно, хоть бы из 4 стихов состоящую...

...Брат Лев! не серди журналистов! дурная политика!

Брат Плетнев! не пиши *добрых* критик! Будь зубаст и бойся приторности!

Простите, дети! Я пьян».

«Стихотворения» — тонкая книжечка в простой серой обложке, украшенной рамкой строгого орнамента, — вышли 30 декабря 1825 года. В январе 1826 года Пушкин писал Плетневу: «Душа моя, спасибо за Стих<отворения> Ал<ександра> П<ушкина>, издание счень мило... Еще раз благодарю сердечно и обнимаю дружески».

---

\* В одну строку (*франц.*).

11 января 1825 года Пушкин проснулся в восьмом часу утра, было темнее обычного — шел густой снег.

Будто бы колокольчик прозвенел. Он улыбнулся — звук был такой ясный, как настоящий. А ведь верно, звенит! Все ближе, ближе. Пушкин вскочил, кинулся к окну. Лошади заворачивали по двору закиданный снегом возок, протащили мимо крыльца. Прямо в сугроб вылез кто-то в шубе с поднятым воротником. Снег на шубе, усталые, влажно дымящие кони, иней на упряжи — все говорило, что гость издалека, что ехал всю ночь, что он спешил. Наконец, наконец кто-то из друзей! И Пушкин кинулся, как был босиком, в ночной рубашке, на крыльцо. Тот, в шубе, уже поднимался по ступеням, ахнул, подхватил Пушкина, прижал к себе, обсыпая снегом. Раздался голос — знакомый, милый: «Пушкин! Простудись, сумасшедший!» Они ввалились в комнату в облаке клубившегося у раскрытых дверей пара. Из людской избы к дому бежали слуги, от ворот, путаясь в длинном армяке, — ямщик, свалившийся на повороте с облучка. Няня вышла, крестясь, что-то говорила, вытирала глаза. А они, Пущин и Пушкин, — один закутанный, в снегу, другой полуголый, не остывший от сна, — все не могли разомкнуть объятий. Растаявший на лицах снег скрыл их слезы. Не сразу смогли они заговорить. Но вот Пушкин рассмеялся, взглянув на свои босые ноги, кинулся за полог — одеваться. Пущин сбросил шубу и шапку. Из прихожей потянуло смолистым дымком — растапливали печь. А они оба уже говорили, говорили, перебивая друг друга вопросами, не успевая отвечать, понимая друг друга с полуслова.

Принесли кофе, закурили трубки. Беседа налаживалась, входила в русло. Пушкину так много надо было узнать. Почему Пущин из артиллериста преобразовался

в судью? Где все друзья-лицеисты? Что говорят о нем, о новой его ссылке в Петербурге, в Москве?

Отвечая на первый вопрос, Пущин не мог не сказать о новом служении отечеству многих молодых дворян — о тайном обществе. Пушкин вспыхнул было — друг скрывал это от него? Но тут же сдержался из уважения к его молчаливостям: о причинах он не знал, но в серьезность их верил. Пущин обнял его крепко, и друзья молча стали ходить по комнате.

Подали обед. Алексей, слуга Пущина, открыл шампанское. Начались тосты — за Русь, за лицей, за друзей, за нее — так обозначалась у них свобода. Поднесли няне, попросили ее угостить домашней наливкою девушек и дворовых. Застольная беседа пересыпалась шутками, анекдотами, хохотом. Ему отвечал приглушенный смех из нянинской комнаты — там девушки вышивали под присмотром пняи. Давно в этом доме не было так весело!

Пущин вспомнил о привезенных им дарах: о «Думах» Кондратия Рылеева с его письмом, о комедии Грибоедова «Горе от ума», ходившей только в списках.

Пушкин стал читать ее вслух — так живо, выразительно, что Пущину казалось, будто он в театре. Вдруг в паузе друзья услышали: кто-то топчется на крыльце, отряхивая снег. Пушкин выглянул в окно, проворно раскрыл большую книгу, лежавшую на столе, — «Жития святых» — и сел за нее смущенный, как нашаливший школьник. Пущин взглянул удивленно — что это значит? Но дверь уже открылась, вошел рыжеватый монах небольшого роста. Это был Иона — настоятель Святогорского монастыря, духовный «пастырь» и «соглядатай». Ясно, что ему донесли о приезде дальнего гостя и он счел нужным разузнать подробности. Пущин вспомнил испуганное восклицание Александра Тургенева: «Как! Вы хотите к нему схать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» Пущин улыбнулся, взглянув на монаха, усердно подливавшего в чай

рому. Монах неуклюже хитрил: будто он надеялся найти здесь генерала Пущина, уроженца здешних мест. Впрочем, выпив два стакана, он вытер со лба испарину и, извинившись, уехал. Теперь Пушкин начал читать свое, торопился прочесть другу как можно больше нового. Вспомнил, что обещал Рылееву и Бестужеву отрывок из «Цыган» для «Полярной звезды», посадил Пущина за стол и, вышагивая по комнате, стал диктовать начало поэмы...

...Уже второй раз, войдя тихонько, сменила няня догоревшие свечи. Принесла закуску. Часы пробили двенадцать. На прощанье открыли третью бутылку. Выпили молча, грустно стало перед разлукой. Чтобы утешить себя, поговорили о будущей встрече. Брякнул колокольчик у крыльца — это ямщик подвел лошадей, — часы ответили тремя ударами. Пущин молча накинул шубу, махнул рукой, побежал садиться в сани — говорить он не мог, тоска сжала сердце. Пушкин вышел на крыльцо со свечой в руке. Таким он и запомнился другу. Лицо, освещенное колеблющимся пламенем, глаза всматриваются в темноту, губы шевелятся, он что-то говорит, но слов не слышно. Коня тронули. «Прощай, друг!» — крикнул Пушкин, свеча в его руке погасла.

Они не знали — прощанье было навсегда.

...последняя моя надежда разрушена...

Приближалась весна 1825 года. Родные беспокоились: Пушкин плохо переносил это время года, не мог работать — «весной я болен... чувства, ум тоскою стеснены...». А тут глушь, ссылка, одиночество. Что с ним будет?

Левушка писал П. А. Осиповой в половине февраля: «Приближается весна; это время года располагает его к сильной мелапхолии; признаюсь, что я во многих отношениях опасуюсь ее последствий...»

Последствия ожидались такпе: Пушкин мог бежать из



ссылки. Брат знал о его планах, они обсуждали их вместе минувшей осенью, касались этой темы и в письмах. Левушка делился лишь с самыми близкими — но почему-то вскоре весь Петербург говорил о намерении Пушкина бежать в Европу. Должно быть, близких у Левушки было много.

«Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге, — писал Пушкин брату в декабре 1824 года. — Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чедаева...»

Чаадаев жил тогда в Швейцарии. Туда и собирался Пушкин. Составлялся конкретный план. В него был посвящен также и Алексей Вульф. Тема была зашифрована: в письмах Пушкина к Вульфу стали появляться заказы на дорожные вещи: «чернильница de voyage», «Lampe de voyage»\*, «Чамодан».

Друзья пытались отвлечь Пушкина от этой идеи. Они опасались — в случае неудачи значительно ухудшится его положение. А что ожидает его в случае удачи? Разлука с Россией, жизнь на чужбине, снова одиночество, опять тоска — по Родине. И друзья, как могли, старались его рассеять. Чаще обычного пишут Бестужев, Рылеев, Пущин. Навестить друга собирается медлительный Дельвиг. Поэт ждал его зимой и в апреле наконец дождался. Рылеев пишет, что надеется приехать летом вместе с Бестужевым. Прасковья Александровна приглашает из Дерпта в Тригорское Языкова и просит сына привезти его.

Все знали, как важен и нужен их приезд, но... боялись. Пушкин уговаривал брата: «Твои опасения насчет приезда ко мне вовсе несправедливы. Я не в Шлиссельбурге...» Языков сомневался: «...он меня зовет к себе — не знаю, что отвечать на это...»

---

\* Чернильница дорожная, лампа дорожная (*франц.*).

Пушкин звал, ждал, но тоже боялся. «...Боюсь быть причиною неприятностей для лучших из друзей моих», — писал он Дельвигу.

Положение «ссылочного невольника», как называл себя Пушкин, порой становилось настолько невыносимым, что он готов был на любой выход. И все же он понимал, как важно получить свободу легально и если ехать за границу, то не отрезать путей к возвращению в Россию.

Возникает новый план: просить приезда из Михайловского для лечения аневризма — расширения вен на ноге, угрожающего его жизни. На аневризм была вся надежда, хоть угрозы для жизни на самом деле не было. Пушкин возмущался — запереть больного человека, оставить его без помощи... Решил обратиться к царю через Жуковского: необходимо добиться выезда для лечения в одну из русских столиц или в Европу.

Однако план неожиданно провалился: Пушкин так убеждал близких в разрушительной силе запущенной болезни, что вскоре среди них вспыхнула тревога. У Жуковского возник свой план спасения больного. «Я услышал от твоего брата и от твоей матери, что ты болен: правда ли это? — спрашивает Жуковский тревожно. — Согласись, милый друг, обратить на здоровье свое то внимание, которого требуют от тебя твои друзья и твоя будущая прекрасная слава... Можно, надеюсь, сделать, чтоб ты переехал на житье и лечение в Ригу...»

Пушкин отвечал тотчас и отправил набросок письма к царю: он просил о выезде в Европу для немедленной операции. Это был и ответ Жуковскому — на Ригу Пушкин не соглашался. Но дело уже двинулось без Пушкина. Прощение подала его мать, Жуковский начал хлопотать. Ответ был самый неутешительный: царь разрешил Пушкину выехать для лечения в Псков. Пушкин был взбешен. «Неожиданная милость его величества тропула меня несказанно, — язвит он в письме к Жуковскому, — тем

более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство во Пскове... Я справлялся о псковских операторах: мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части...»

Но друзья, убежденные в действительной опасности аневризма, хлопотали теперь о выезде в Псков знаменитого дерптского хирурга, женатого на родственнице Жуковского, И. Ф. Мойера. Пушкин попадает в затруднительное положение. Если Мойер и был ему нужен, то только как средство для выезда в Дерпт, откуда лежал путь в Европу. А что ему делать с Мойером в Пскове?

И Пушкин начал энергично разрушать все предприятие по его спасению от аневризма. Не от аневризма надо спасать его, а от ссылки! Он категорически отказался от приезда Мойера, писал об этом Жуковскому, самому Мойеру... Писал сестре, клял друзей в порыве гнева, осыпал их упреками и кончил в полном отчаянии горькими словами: «О, господи, освободи меня от моих друзей».

Вяземский отчитал его в двух резких письмах: что за упрямство? В какое положение ставит он своих близких? Что будут думать власти, если он теперь откажется ехать в Псков? «Право, образумься и вспомни — собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть еще и такая привязь, что разом угломонит дыхание...»

Страшная шутка. Кто мог подумать, что о виселицах вскоре заговорят всерьез. Пока для страданий хватало и привязи. Пушкин рвался с нее, но сорваться не мог. Смирился, гнев на друзей прошел. Он чувствует себя виноватым перед ними, успокаивает: в Псков он поедет, но позже, осенью, операция пустяковая, аневризм этот неопасен, смотрел его здесь один врач. А сказать откровенно — «естественно, что милость царская огорчила меня, ибо новой милости не смею надеяться... Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению... и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку!.. Нет,

дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить негодование; выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике; лишают меня права жаловаться (не в стихах, а в прозе, дьявольская разница!), а там не велят и беситься. Как не так!»

**Я помню чудное мгновенье...**

В этот июньский вечер, как обычно, вышел Пушкин через боковую калитку за цветущей сиренью и пошел по тропе к Маленцу, а там через лес к трем соснам, потом в поле, свернул к Сороти и шел берегом, пока не достиг отвесной кручи Тригорского парка. Ловко, легко взобрался он на кручу и оказался у скамьи, где столько поверялось тайн и столько происходило объяснений.

Пушкин влюблялся то в меланхолическую Анну, то в веселую Евпраксию, то в робкую Алину. Влюблялся? Скорее играл. Их это волновало, его забавляло. Деятельная Прасковья Александровна принимала свои меры — увозила то одну, то другую. То ли пыталась уберечь от пылания страстей, то ли ревновала: и ее не миновало сие поветрие.

Сейчас в Тригорском гостила племянница, очаровательная женщина, молодая жена старого генерала Керн — Анна Петровна. Теперь Пушкин был влюблен в Анну Петровну.

К этой женщине давно было разогрето его любопытство. «Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? — спрашивал Пушкин зимой украинского поэта А. Г. Родзянко, соседа Керн по имению в Лубнах. — Говорят, она премиленькая вещь — но славны Лубны за горами...»

Он видел ее давно мельком у Олениных. Судя по ее письму к Пушкину, написанному в две руки с Родзян-

кой весной, с ней можно было держаться без особых церемоний. И все же во взгляде ее широко расставленных больших глаз было что-то, что его останавливало, — беззащитность, покорность, печаль.

В этот вечер Пушкин читал в Тригорском «Цыган». Он видел, как Анну Петровну волнует его голос, его стихи. Он был в ударе — стихи звучали, звенели, он почти пел.

Он кончил, дамы аплодировали, окружив поэта. Слуга вошел сказать, что ужин подан. Прасковья Александровна предложила поехать после ужина в Михайловское. А назавтра уезжали все из Тригорского в Ригу, там ждал свою жену генерал Керн.

Приехали в Михайловское поздним вечером. Чинно прохаживались по аллеям, освещенным луной, он рядом с ней. Обменивались отрывочными фразами. Прасковья Александровна, которая шла позади с дочерью и сыном, неожиданно сказала: «Пушкин, покажите мадам Керн свои владенья». Он обрадовался, крепко взял Анну под руку, ускорил шаг, свернул в аллею, замкнутую сверху ветвями разросшихся лип, почти побежал. Она следовала за ним молча, покорно, временами спотыкаясь об узловатые корни. Поддерживая, он почти обнял ее. Так дошли они до конца аллеи. В лунном свете увидел он ее бледное лицо, печальный взгляд. Ее нежные руки, ее уста были прохладны...

На следующий день, когда Пушкин пришел в Тригорское прощаться, он подарил ей стихи свои «Я помню чудное мгновенье...», спрятанные в неразрезанные листы тонкой книжки — первой главы «Онегина». Поэт написал стихотворение мигнувшей ночью.

Это путешествие в Ригу, придуманное Прасковьей Александровной, казалось ему сейчас нарочитым, досадным.

Из писем Пушкина к А. П. Керн (август 1825 года, с французского):

«...Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главное — это глаза, зубы, ручки и ножки...»

«Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он часом?.. Постарайтесь хоть сколько-нибудь наладить отношения с этим проклятым г-ном Керном...»

«...Как бы то ни было, но вы непременно должны приехать осенью сюда, или хотя бы в Псков... Вы приедете? — не правда ли?»

«Прощайте. Сейчас ночь, и ваш образ встает предо мной, такой печальный и сладострастный; мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста...»

И вот опять явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.

#### Тоской и рифмами томим...

Пушкин нарисовал себя в рост в длинном сюртуке, немного мешковатом. Но и в этом полукарикатурном автопортрете что-то напоминало об его изяществе — должно быть, тонкая талия. Привычно набросала рука «арапский» профиль — слегка приплюснутый нос, выпуклые губы. Лицо получилось озабоченное, даже брюзгливое... Карандаш крутил завитки — волосы курчавились на щеках. Он отрастил в Михайловском бакенбарды, они его забавляли. На голове изобразил цилиндр. Потом вспомнил — ведь он сельский житель, опочецкий дворянин, не поэт Пушкин, а помещик — Петушков или Буянов, — и, нажимая на карандаш, жирным штрихом поперх цилиндра нарисовал картуз, насадив его глубоко на голову, отчего лицо стало еще более хмурым. Да, нужна еще гроть!

Рисунок закончен: опочечкий дворянин Пушкин готов к обходу своих владений. Он уходит с листа черновой тетради, от строф «Онегина», с левого поля страницы в поля за Соротью.

Поэт Пушкин устал, он идет гулять. Но онегинские строфы летят за ним, они настигают его у озера, и он громко, нараспев скандирует стихи, бродя по берегу.

В деревне Пушкин много работал над «Евгением Онегиным», и Михайловское — природа, люди, собственные настроения, воспоминания — широко вошло в роман, и не только в «деревенские» главы.

В плане, набросанном впоследствии к полному изданию романа, он дал названия главам и обозначил, какую, где и когда писал. В Михайловском закончил поэт третью главу — «Барышня» — и написал четвертую — «Деревня», пятую — «Именины» и шестую — «Поединок».

«В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь», — писал Пушкин Вяземскому 27 мая 1826 года.

Онегин жил апахоретом;  
В седьмом часу вставал он летом  
И отправлялся палатке  
К бегущей под горой реке.

В окончательном тексте четвертой главы, как и в стихах, опущенных самим поэтом, есть и псковские барышни, и деревенский костюм Онегина, и бильярд в одиночку, и прогулки в окрестностях.

Жизнь Пушкина входила в роман не только как жизнь его героев, она вплеталась в него лирическими отступлениями, где он прямо говорил с себе.

Грустны и под прикрытием иронии строки об его одиночестве:

Но я плоды моих мечтаний  
И гармонических затей  
Читаю только старой няпе,  
Подруге юности мсей,

Да после скучного обеда  
Ко мне забредшего соседа,  
Поймав нежданно за полу,  
Душу трагедней в углу.  
Или (но это кроме шуток),  
Тоской и рифмами томим,  
Бродя над озером моим,  
Пугаю стадо диких уток:  
Вняв пенью сладкозвучных строф,  
Они слетают с берегов.

Пушкин то откладывал черновые тетради с романом, то вновь брался за них. Одновременно шла работа над разными главами. Он пишет пятую, но все еще возвращается к четвертой, а начав шестую, — к пятой. Он уже написал шестую, но еще не решается издавать вторую — не считает законченной.

И хотя Плетнев умоляет не задерживать выход в свет продолжения романа, Пушкин не выпускает второй главы до 1826 года.

«Твоя от твоих», — напишет Пушкин, преподнося в 1828 году книжку с четвертой и пятой главами романа Евпраксии Вульф. Тригорские барышни всю жизнь будут верить, что Анна Николаевна, серьезно влюбленная и страдающая от невнимания поэта, — Татьяна, а веселая и живая Евпраксия — Ольга. Но все было значительно сложнее в недоступном для них мире творчества. И все же атмосфера их дома, быт и уклад семьи, отдельные черты характеров, чудесный парк Тригорского вошли в роман.

Где вольность и закон? Над нами  
Единый властвует топор...

В большой тетради, переплетенной в черную кожу и почти целиком исписанной, начал Пушкин пятую главу «Онегина» и сделал помету — «4 генв.». Он писал о зиме, она только началась, накануне, третьего января, выпал запоздавший первый снег.



Зиму он любил. Ясные морозные дни — сверкание снегов под ярким солнцем, торжественные султаны дымов, чуть колеблющиеся над белыми крышами в усадьбах, скрип снега на тропках, легкий звон поземки по льду на озере. Любил и дни пасмурные, хмурые — белое бешенство бурана, вздувающего сугробы с загнутыми гребнями, похожие на морские волны.

Работа двигалась медленно. Когда стихи не шли, он выходил в парк. Темные лапы елей сгибались под снегом и вдруг выпрямлялись, запорошивая лицо. С пруда доносился веселый гомон мальчишек. Предвечернее зеленоватое небо было расчерчено черными ветвями старых лип. У крыльца людской избы — узоры сорочьих следов. Снег постепенно синел, наступали сумерки. Мелькала свеча в темном окне — няня накрывала на стол. Он возвращался домой.

На душе было беспокойно. События 14 декабря были ему известны. Мысли тревожили, мысли уходили от романа, тогда в тетради появлялись рисунки.

«...Неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучает... — жаловался Пушкин Плетневу. — Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю, все перестали ко мне писать...»

«Ничего не знаю» относится к судьбе арестованных друзей, он рисовал их в тетради на полях возле строк. Одну из страниц огибает гирлянда портретов, идущая по левому полю вниз и по нижнему — вправо.

Первый профиль — высокий лоб, прямой нос, массивный подбородок — Пестель, глава Южного тайного общества. Последний профиль — с выдвинутой нижней губой — Рылеев, Северное тайное общество. Между этими двумя лицами — изображения близких друзей.

Прошел только месяц, как узнал Пушкин о восстании. Человек Осиповых, вернувшись из столицы, рассказал об усиленных караулах, заставах, о том, как искали и ловили кого-то, как трудно было выбраться из Петербурга.

Пушкин мог оказаться там: он выехал было в начале декабря с поддельным отпускным билетом на имя Алексея Хохлова, крепостного Осиповой, но... вернулся. Дурная примета слугнула. А может быть, просто благоразумие взяло верх?

О том, что должно было произойти, Пушкин знал от Пущина. О том, как все кончилось, знал уже из газет. Кое-что было известно по слухам, кое-что понято из писем.

А вообще была неизвестность, она мучила. Карандаш больше рисовал, чем писал. Под профилем Пестеля появились два новых профиля мягкого, доброго лица. Друг первый и бесценный — Пуция. В первом рисунке он молode, спокойнее, во втором появились морщины на лбу, волосы развиллись, прямыми прядями упали на лицо, глаза устало полуприкрыты. В этом рисунке Пушкин представил своего друга, каким он мог быть сейчас — под допросами, в неволе.

А еще ниже профили человека с большим носом и грустным взглядом. Чудак, с которым всегда случаются нелепые происшествия, — Кюхля. Вот он совсем юный — лицеист, потом постарше и, наконец, взрослый, с начесанными вперед височками, в высоком воротнике. Серьезный, строгий и опять печальный.

Дельвиг писал, успокаивая Пушкина, успокаивая себя: «Наш сумасшедчий Кюхля нашелся, как ты знаешь по газетам, в Варшаве». — Слово «нашелся» выведено поверх другого, недописанного, «пойман». — «Слухи в Петербурге переменились об нем... говорят, что он не был в числе этих негодных Славян, а просто был воспламенен, как длинная ракета...»

С лицейских времен Кюхля — предмет шуток, острот. Но тут не до шуток. Все было гораздо тревожнее, чем могли знать и сообщить Пушкину друзья, не причастные к заговору, восстанию и следствию. Кюхельбекер был членом тайного общества.

Следствием руководил новый царь. Отвечая на вопрос: «С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?», почти все арестованные называли вольнолюбивые стихотворения Пушкина. Николай I сам вел допросы наиболее важных «преступников». Он спрашивал у Пуцина, посылал ли тот своему «родственнику поэту Пушкину» письмо о готовящемся восстании? Пуцин отводил от Пушкина внимание жестокого следователя: «...общезвестно, что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», был всегда противником тайных обществ и заговоров», — отвечал он. Пуцин, истинный друг, о Пушкине беспокоился. Более далекие не думали о судьбе поэта, а совсем далекие, отвечая на допросе, просто губили Пушкина, «подавая» его «членом к преступным предприятиям».

«Все-таки я от жандарма еще не ушел», — писал Пушкин Жуковскому в январе. Это было гораздо ближе к истине, чем он мог предполагать. В следственных делах накопилось достаточно материалов, чтобы заточить в крепость поэта-вольнолюбца. Однако.. он не был членом тайного общества, не участвовал в заговоре, да и в ссылке второй год, под надзором, в глухой деревне.

«Ты ни в чем не замешан — это правда, — писал Пушкину Жуковский, — но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством».

Сначала, узнав о смерти императора Александра, Пушкин весело требовал: «Выписывайте меня, красавцы мои». Потом, после событий 14 декабря, встревоженный за друзей, за себя, мучительно обдумывая форму обращения к «высочайшей милости», искал слов, отсылал письма к Жуковскому для обсуждения среди друзей, для того чтобы тот показал при случае царю. Друзей поражала надменность, сухость тона в этих письмах, независимость, неуместная для «просителя».

«...Положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов уговариваться... но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня».

«Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Только поздней весной собрался Пушкин с силами написать прошение по должной форме, ссылаясь снова на необходимость лечения. К прошению прилагалась (это было новое установление) подписка о непринадлежности к тайным обществам, затем свидетельство инспектора Псковской врачебной управы, подтверждавшего, что у Пушкина «повсеместное расширение кровезвратных жил на нижних оконечностях».

Закончилось следствие над арестованными. Был назначен верховный суд — все это сообщил манифест от 1 июня. Манифест об окончании суда был опубликован через полтора месяца. Приговор был жесток, страшен. Пятеро — Пушкин знал их всех — были приговорены к казни четвертованием, тридцать один — среди них Пушкин, Кюхельбекер — к отсечению головы. Одновременно с приговором вышел указ о «пощадах»: четвертование заменялось повешением, отсечение головы — вечной каторгой. Тут же сообщалось: «Преступники воспрियाли достойную их казнь».

Страшная весть дошла до Пушкина 24 июля. На листке со стихами на смерть Амалии Ризнич в нижнем углу записал он одними начальными буквами: «У. о с. Р. П. М. К. Б. 24» (это означало: узнал о смерти Рыльева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева \* 24-го).

---

\* М. П. Бестужева-Рюмина.

Ужасная казнь виделась Пушкину. Образ виселицы с телами казненных преследовал его. В той же тетради, открыв ее случайно на середине, перевернув, начертит он потом, позже, ворота и вал Петропавловской крепости, виселицу на валу, повисшие тела... И опять повторит рисунок, думая о страшных подробностях...

«Ты находишь письмо мое холодным и сухим, — отвечал Пушкин Вяземскому, говоря о своем прошении к царю. — Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы».

Как труп в пустыне я лежал,  
И бога глас ко мне воззвал:  
«Восстапъ, пророк, и виждь, и внемли,  
Исполнись волею моею  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей».

Пророк — вождь, поэт, несущий людям правду, — бессмертен, как сама правда. Это стихотворение написано в июле 1826 года.

«Будь поэт и гражданин», — сказал ему в ноябре прошлого года Рылеев. Теперь эти слова звучали как заветные.

В июле в окрестностях Михайловского — дальних и близких — появился агент-осведомитель Бошняк, присланный из Петербурга собрать сведения о Пушкине. Он имел полномочие действовать в зависимости от результатов: был у него открытый лист на арест. Но все опрошенные свидетельствовали скромный и замкнутый образ жизни ссыльного поэта.

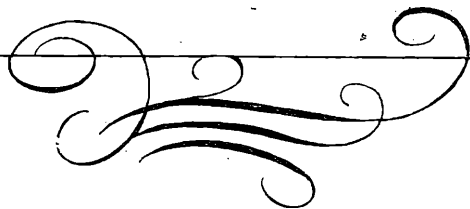
Прошло немного более месяца. В сентябре, в ночь на четвертое, явился офицер с письмом от Адеркаса. Губернатор вызывал Пушкина срочно в Псков. Там ждал поэта фельдъегерь, привезший из Петербурга «высочайшее повеление», подписанное начальником «Главного штаба его императорского величества» Дибичем. «Повеление» звучало так: «...Пушкина призвать сюда. Для сопровож-

дения его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне...»

Пушкин ехал в Москву. Он знал это из копии официальной бумаги, присланной Адеркасом. «Свободно, под надзором», свободно, «не в виде арестанта...» Свободы он пока не ощущал. Что ждет его? Может, другая неволя, еще более горькая. Но думать об этом не хотелось. Впереди дорога, быстрая езда, Москва. Город его детства — старая Москва, новая, восставшая из пепла после пожара, еще им не виденная.

А может... а может, все-таки впереди свобода?

## ПОРТРЕТ, ПОДАРЕННЫЙ ДРУГУ



**М**аленький портрет — копию со знаменитого тропининского портрета Пушкина — я нашла у знакомых. Нашла? Странно, но иначе не скажешь. Бывала я и раньше у сестер Сытиных, внучек известного издателя, в огромной старой квартире, населенной сытинской родней, но о портрете ничего не знала. И только в этот раз, на семейном торжестве, когда усаживались за стол, оказалась вблизи небольшого портрета в золоченой рамке. Скользнула по нему взглядом — вещь привычная, обратила внимание на то, что рамка маловата, тесна, портрет коробится.

«А вы знаете, какой это портрет?» — спросил, заметив мой взгляд, муж старшей сестры, Андрей Сергеевич Беэр.

Я только плечами пожала — каждый школьник знает портрет Пушкина работы Тропинина.

«Вы небось думаете — репродукция в дешевой рамочке, — угадал хозяин, — а это семейная реликвия, копия, сделанная моей прабабкой еще при жизни Пушкина».

«Что вы говорите? Не может быть! Как так?» — всполошились гости, а с ними и я.

Портрет, снятый со стены, у меня в руках — запыленный, закопченный, с мушиными следами.

«Разве так хранят семейные реликвии?» — ворчу я на правах старой знакомой и старого музейного работника и тотчас начинаю уговаривать хозяина передать портрет музею Пушкина, иначе живопись погибнет.

Андрей Сергеевич соглашается быстро, и я уношу портрет с собой. Теперь уменьшенная копия с подлинника Тропинина, реставрированная опытным мастером, хранится в музее\*.

История маленькой копии тесно переплелась с историей тропининского портрета, таинственно исчезнувшего и найденного двадцать лет спустя. Копия позволила уточнить некоторые обстоятельства, запутанные в разноречивых воспоминаниях.

И еще: оба портрета — память дружеских отношений Пушкина и Соболевского.

О двух портретах и двух друзьях рассказывается в этой истории. Она может показаться несколько пестрой: документы, стихотворения, письма, авторские размышления, описания портретов, а также сцены из той, далекой, жизни.

«Что же это — очерк, рассказ, исследование?» — спросит строгий читатель.

Не знаю. Позвольте мне не укладываться в строгие рамки жанра!

Буду надеяться, что все, включенное в это повествование, приблизит к нам те далекие времена и события.

В сентябре 1826 года Москва встретила Пушкина иллюминацией, балами, народными гуляньями на Девичьем

---

\* Государственный музей А. С. Пушкина в Москве. Портрет опубликован в моей статье, см.: Прометей, 1966, № 2, с. 179—190.



поле и под Новинским. Казалось, она празднует возвращение из ссылки любимого поэта, знаменитого, не раз уже отмеченного высоким словом «гений». Но нет, праздничный блеск и шум предназначались другому. Короновали на царствование Николая I, только что жестоко расправившегося с декабристами.

Страшная казнь — виселицы, каторжные сроки, кандалы — все это напугало, ошеломило общество. Может, следовало новому царю явить себя милосердным? Такая возможность представлялась: в руках у него прошение — Пушкин просит освободить его из ссылки. Надо подумать: возмутительные стихотворения этого Пушкина упоминались непрестанно во время следствия, из них набирались преступники вольных мыслей и злодейских намерений. Он, Николай, был хорошо осведомлен об этом. Освободить Пушкина? Может, и не надо, хоть и говорят, что он знаменитый поэт, хоть за него ходатайствовали преданные престолу Жуковский и недавно усопший Карамзин. Но все же проведенное через секретного агента тайное следствие в Псковской губернии показало, что Пушкин ведет жизнь благонаправленную, да и к заговору он не причастен. Освободить, пожалуй, можно, но поставив условия.

И царь решает: вызвать Пушкина в Москву, прямо к себе, иметь с ним беседу и определить, достоин ли прощения.

Пушкин доверчиво принял «царскую милость»: он был прощен после того, как смело признался — да, он был бы 14 декабря вместе с восставшими, многие из заговорщиков были его друзьями. Поэт дал царю слово не писать против правительства, царь обещал поэту свободу от цензуры — он сам будет снисходительным к нему цензором.

Весть о «милостивом приеме», «царском благодеянии», о том, что Пушкин «осыпан царским вниманием», быстро разнеслась по Москве и Петербургу.

Потом Пушкину откроется истинная цена высочайших благодетелей: свободы, при которой можно действовать и передвигаться только с разрешения шефа жандармов Бенкендорфа, и цензурной льготы, состоящей из двойной, особо пристальной, проверки всего, что поэт захочет печатать.

Но весь гнет царского внимания Пушкин почувствует впоследствии, а пока, в первые месяцы выхода из «михайловского заточения», он предается радостям новой свободной жизни, и чувство благодарности к царю не оставляет его.

Москва приветствует поэта: где бы он ни появился — в театре, на балу, на гулянье, — он слышит то громкие, то тихие голоса: «Пушкин, смотрите — Пушкин! Пушкин? Где, где?» Он и не предполагал, что так знаменит. В искренних, хоть и неуклюжих, стихах поэтесса графиня Ростопчина изобразила появление Пушкина на гулянье под Новинским:

Вдруг все стеснилось — и с волнением  
Одним стремительным движеньем  
Толпа рванулася вперед..  
И мне сказали: «Он идет!»  
Он, наш поэт, он, наша слава,  
Любимец общий! Величавый  
В своей особе небольшой,  
Но смелый, ловкий и живой...

Встречи с близкими друзьями! Можно говорить о литературе, слушать суждения людей понимающих, принимать участие в журнальных делах. Живое общение — это так много. Все, чего Пушкин так давно был лишен, поднимает его дух, возбуждает, слегка пьянит.

В первый же московский день Пушкин встречает Сергея Александровича Соболевского и принимает приглашение поселиться у него. Приятельские отношения завязались давно через Льва Пушкина, с которым Соболевский учился в Благородном пансионе при Петербургском университете.

Сергей Александрович, побочный сын А. Н. Соимонова, — человек широко образованный, начитанный, знаток и любитель книги, ценитель искусств, приятель многих литераторов, остроумец, эпиграмматист, а также любитель вкусно поесть и хорошо выпить, что служило темой постоянных шуток в дружеском кругу.

8 сентября вечером, после разговора с царем, Пушкин ужинал у дяди Василия Львовича, еще не успев переодеться с дороги, — вещи он оставил в гостинице. Дядюшка хочет знать «все, решительно все», Пушкин отделяется общими фразами, — он связан словом, да и доверять дядюшке можно лишь то, о чем хочешь оповестить весь город. Вдруг является Соболевский — огромный, богатырского сложения, круглоголовый, с крупными чертами лица, в парадном мундире, в бальных башмаках с бантами. Примчался с бала у французского посланника маршала Мармона, как только по залам разнесся слух о приезде поэта.

Пушкин тут же просит Соболевского об одолжении — поехать немедленно к графу Федору Толстому, Американцу, и передать вызов на дуэль: старые счеты, их не удалось свести, помешала ссылка на Юг. Соболевский отказывается — к чему такая спешка, утро вечера мудренее — и увозит Пушкина к себе на Молчановку, несмотря на обиды и протесты Василия Львовича.

В ближайшие дни Соболевскому удается помирить Пушкина с Американцем, и вскоре бывшие враги становятся приятелями.

Через день, 10 сентября, у Соболевского на Молчановке происходит первое чтение «Бориса Годунова». Пушкин рассылает приглашения нескольким друзьям. Затем поэт читает свою трагедию у Вяземского, только что вернувшегося в Москву, читает ее Баратынскому, а двенадцатого октября — в многолюдном собрании у Веневитиновых. Говорят, что трагедия Пушкина чудо, зрелое и возвышенное произведение, что поэт «шагает по-шек-

спировски». (Вскоре Пушкин получит выговор от Бенкендорфа за эти чтения.)

Возвращение Пушкина из ссылки — событие, которое занимает всех, — о нем пишут в дневниках, сообщают в письмах:

«Я должен вам сказать о том, что очень в настоящее время занимает Москву, особенно московских дам. Пушкин, молодой знаменитый поэт, здесь. Все альбомы и лорнеты в движении...»

«...Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются, отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому Аруэту» (Аруэ — одно из трех имен Вольтера. — Н. Б.).

Дружба между Пушкиным и Соболевским крепнет в первые месяцы свободной жизни поэта. Соболевский не только остроумный собеседник и веселый собутыльник, соединяют их с Пушкиным общие интересы: издание «Московского вестника», журнала, только начавшего свою жизнь, задуманного кружком молодых литераторов — «любомудров». В группе издателей-инициаторов — братья Киреевские, Иван и Петр, Шевырев, Рожалин, Соболевский. Официальный издатель — Михаил Петрович Погодин, а Пушкин — один из авторов, обещавших постоянное сотрудничество. Литературные вкусы Соболевского близки и понятны Пушкину: Сергей Александрович ценил поэзию Баратынского, Дельвига, они охотно читали ему свои стихи, дорожили его советами.

Поэт Языков определил завязавшуюся дружбу так:

Соболевский — «приятель, обожатель, бирюч и Gastfreund Пушкина». (Определение требует пояснений: «бирюч» означает не только бирюк, но и «глашатай», и здесь, как видно по строю фразы, употреблено именно так, а Gastfreund выведено из немецкого слова «радушие».)

Судя по письму, написанному Пушкиным вместе с Соболевским к их общему приятелю Петру Каверину, жизнь на Молчановке шла разгульная:

«...Наша съезжая в исправности — частный пристав Соболевской бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, б... и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера —

Прощай до свиданья».

Соболевский подписался: «Молчановский съезжий пристав».

Кое-кто из знакомых поэта не одобрял «съезжую». Вигель сожалел, что Пушкин «вновь попался на разгульную жизнь». Резко, брезгливо отзываясь о хозяине дома бывавший там Погодин: «Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех».

Шумная, неурядливая жизнь начала приедаться самому Пушкину. Михайловское приучило его к тишине, размеренным дням, порядку. В начале ноября Пушкин уезжает в деревню, все было брошено там в спешке внезапного отъезда — дела, вещи, книги. И прежде всего надо было составить записку о воспитании юношества — поручение императора, переданное через Бенкендорфа.

Перед отъездом поэт делает предложение Софье Федоровне Пушкиной — в третью с ней встречу. Внезапная вспышка чувств и внезапное решение круто изменить жизнь. «Мне 27 лет, дорогой друг, — пишет Пушкин Василию Петровичу Зубкову, женатому на сестре Софьи. — Пора жить, т. е. познать счастье». В искренних взволнованных строках письма, написанного в Пскове 4 декабря 1826 года, поэт выражает сомнение — может ли он дать счастье молодой девушке. «Моя жизнь, доселе такая кочующая, такая бурная, мой характер — неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно — вот что дает мне минуты тягостного раздумья» (с французского).

Мысль о женитьбе, об устройстве жизни не оставляет Пушкина и после отказа Софьи Федоровны. С этого времени чувства его устремлены к выбору невесты.

Михайловское радует Пушкина. «Деревня мне пришла как-то по сердцу, — пишет он Вяземскому. — ...Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно, сочиненной при ц<аре> Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

В веселом, благодушном настроении сообщает поэт Соболевскому о приезде и подшучивает над слабостями адресата, который, по-видимому, также собирался в дорогу:

«Мой милый Соболевский — я снова в моей избе. 8 дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогой бранил тебя немилосердно; но в доказательство дружбы (сего священного чувства) посылаю тебе мой *Itinéraire*\* от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя Инструкция. Во-первых запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь.

Потом:

У Гальяни иль Кольони  
Закажи себе в Твери  
С пармазаном макарони,  
Да яишницу свари.  
На досуге отобедай  
У Пожарского в Торжке,  
Жареных котлет отведай (имянно котлет)  
И отправься налегке.  
Как до Яжельбиц дотащит  
Колымагу мужичок,  
То-то друг мой растарашит  
Сладострастный свой глазок!...

Далее следует еще несколько гастрономических советов, заканчивается письмо в прозе:

«На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку... Прощай, пиши».

---

\* Маршрут (франц.).

Вот он, Соболевский, которого называют то Байбаком, то Бирюком, то Калибаном или Фальстафом, а то и просто Обжорой. И коляска у Пушкина в дороге сломалась из-за него, толстяка: «Сломались у меня колеса, растрясенные в Москве другом и приятелем моим г. Соболевским».

Однако главным было доброе, заботливое отношение Соболевского к Пушкину, которому он служил, чем мог: издавал сочинения, помогал в денежных делах, спасал от дуэлей. Он любил Пушкина.

Возвращается Пушкин из Михайловского в конце декабря. Он опять у Соболевского, в том же доме. Через много лет Сергей Александрович проведет по комнатам бывшей своей квартиры (в то время в доме уже было питейное заведение) товарища и покажет, вспоминая:

«...Вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его, вот где так нежно возился и нянчился он с датскими щенятами. Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский... и другие мужи; вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно...»

Пушкин прожил у Соболевского до 20 мая 1827 года. В первые месяцы этого года Василий Андреевич Тропинин пишет портрет поэта.

Сорок лет спустя между Соболевским и Погодиным возникнет спор — кто заказывал портрет, Пушкин или Соболевский?

Два письма Соболевского. В первом он сообщает Погодину сведения о портрете, необходимые для заметки о художественной выставке 1868 года, где впервые был показан портрет. Погодин собирается писать о выставке в своей газете «Русский». В первом письме читаем:

«Вот история портрета.

Портрет А<лександр> С<ергеевич> заказал Тропинину для меня и подарил мне его на память в золоченой великолепной рамке».

Второе письмо написано после публикации заметки Погодина, который произвольно изменил факты, сообщенные Соболевским, и утверждал, что портрет заказал Соболевский, а не Пушкин (газета «Русский», 1868, № 116).

Соболевский сердится:

«Батюшка Михаил Петрович — генерал, а повираете не хуже нашего брата обер-офицера!

Портрет Тропинину заказал сам Пушкин тайком и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами».

Погодин опубликовал возражения Соболевского в № 119 той же газеты, но сделал примечание, что содержание второй заметки «совершенно ложное». Утверждение это Погодин ничем не обосновал, сам же внес ряд ошибок в первую заметку, например, сообщал, что портрет писался в 30-х годах.

Спор продолжается в исследованиях, комментариях на много лет: кто заказывал Тропинину портрет, — Сергей Александрович или Александр Сергеевич?

Не напрасны ли эти споры?

Представим, как все могло быть в действительности.

Соболевский заказать портрет Пушкина без его согласия и участия, конечно, не мог. А мог ли Пушкин заказать свой портрет для подарка Соболевскому, если бы последний не высказывал желания иметь этот портрет? Нескромно и на Пушкина непохоже. Конечно, Соболевский просил Пушкина портретироваться у Тропинина и выражал свои пожелания — каким хотел бы его видеть.

Пушкин уступил просьбам приятеля. Сам он не стремился запечатлеть себя, даже и мастерской кистью, и позировать не любил. Все прижизненные портреты Пушкина, созданные почти одновременно, в 1820-х годах, что свидетельствует о его популярности, сделаны не для него,



ему не принадлежат и мало его занимают. Знаменитый портрет поэта, написанный Орестом Кипренским, был заказан Дельвигом, и только после смерти лицейского друга Пушкин приобрел портрет у его вдовы, чтобы помочь ей в денежных трудностях. Впрочем, портрет ему понравился, судя по его стихотворному посланию к художнику. Понравился и другой — рисунок итальянским карандашом Ж. Вивьена. Оба портрета — разные, несравнимые — отличаются большой сдержанностью.

Ранней весной 1827 года Пушкин решил наконец исполнить просьбу своего «бирюча», но обратился к Тропинину тайно: пусть подарок будет неожиданным.

Как был подарен портрет, что происходило в доме на Молчановке, какие «фарсы» (Соболевский вспоминал о них сорок лет спустя) были придуманы поэтом?

Портрет готов, доставлен от Тропинина к Пушкину и у него спрятан. Пока поэт рассматривает его в одиночестве. Посмотрим на портрет и мы.

Пушкин изображен в обычном «домашнем» виде, каким бывал в беседах вдвоем. Все, о чем просил приятель, выполнено: халат, перстень-талисман, длинный ноготь на большом пальце.

Правда, изобразив все аксессуары «домашности», Тропинин создал образ поэтический, приподнятый, передал высокую одухотворенность гения. Поза как будто простая, но в горделивой посадке головы есть нечто львиное, указывающее на значительность, важность модели. Прием, свойственный парадному портрету прошлого века, с традицией которого Тропинин пока не расстается.

Думаю, что эта приподнятость, возвышенность должна была смущать Пушкина — он не любил патетики. Свою внешность поэт знал прекрасно — шестьдесят автопортретов свидетельствуют об этом. Иногда Пушкин-художник поднимает свой образ, романтизирует, иногда — снижает, делает нарочито обыденным, даже неприглядным; он то молодит себя, то старит, то подсмеивается над

себой, то собой восхищается, проникая в свою поэтическую суть. Юмор, ирония, заключенные в автопортретах Пушкина, никогда не ведут к искажению, идеализация образа — к умилению.

Легкие, быстрые рисунки Пушкина, возникающие в рукописях, в альбомах, лаконичны, изящны, стремительны, они сделаны одним очерком, линией трепетной и вместе точной. Перо Пушкина-художника обгоняет свое время, вот почему искусство его современников может казаться ему малоподвижным, архаичным, не затрагивает его глубоко.

Не сохранилось откликов Пушкина на портрет Тропинина — ни в письмах, ни в стихах. Но можно думать, что портрет ему не понравился. Принять себя в образе приподнятом, опоэтизированном, когда это сделано другим, сделано всерьез, ему было трудно. Не могли понравиться Пушкину его, как он говорил, «арапские черты», выявленные Тропининым.

В автопортретах Пушкин не сглаживал эти черты, унаследованные от Ганнибалов, даже кокетничал слегка экзотичностью своей внешности. «Арапское» в автопортретах соразмерно, изящно, не выходит из власти поэта — его руки, его пера. Но «арапское» во власти чужих рук? В живописи, в мраморе — весомое, недвижимое, цветное... Пушкин боялся этого, начинал говорить о своем «арапском безобразии».

Тропинин ганнибаловские черты не сглаживал, он выявил их отчетливо в форме носа и губ. В них заключено неповторимое обаяние облика — так видит портрет любой зритель. Но Пушкина этот негритянский отпечаток мог раздражать.

Можно представить, что ему нетрудно было посмеяться и спародировать портрет, «разыграть фарсы» в духе и стиле «Молчановской съезжей», где умели шутить и смеяться.

Итак, портрет привезен от Тропинина и спрятан до

утра, когда не бывает посторонних. Прежде чем пригласить Соболевского к себе, Пушкин надевает халат, тот самый, коричневый с синими отворотами, в точности повторяет позу. Позолоченная рама, отысканная в чулане, обрамляет «живую картину», и вот уже два одинаковых «портрета» на двух столиках. Рамы придерживает слуга, поставленный посредине с приказом не шевелиться и не складиться.

Зовут Сергея Александровича, он входит и останавливается растерянный. Тут и радость, и удивление, и смех, который он не может удержать.

Но это еще не фарс — застыть в позе портрета. Нет, по привычке юных лет Пушкин должен «собезьянничать», спародировать портрет. Он усилит мимикой, доведет до смешного то выражение одухотворенности, внутреннее движение, которое есть в портрете. Вытянет шею, оттопырит губы, вытаращит глаза — создаст карикатуру на портрет, на самого себя. Да еще скажет что-нибудь к случаю — в стихах, в прозе или в простонародном духе. На «съезжей» не чуждались сильных выражений. И тут же расхохочется вслед за Соболевским.

А Соболевский смеется громко, сотрясаясь всей своей массой, — он ценит «фарсы», он и сам шутник. Потом заулыбается, счастливый, он хотел иметь портрет Пушкина и наконец получил его, портрет ему нравится — как может не понравиться такой великолепный портрет? Пожалуй, он удивится слегка буйным «фарсам» — разве портрет не хорош? Что — слишком хорош? Как это понять? Много «арапства»? Помилуй, ты сам хвалишься ганчибаловской кровью.

Соболевский, вероятно, оценит все: сходство, изысканность сдержанного колорита, возвышенность образа в сочетании с простым домашним видом. Он увидит в портрете простого, привычного Пушкина и одновременно Поэ-

та. Большого Поэта, с большой буквы Поэта. Сергей Александрович, бирюк и байбак, тонкий ценитель искусства, отметит и мастерство кисти, и артистизм модели и полюбит портрет вдвойне. Он найдет для него лучшее место в доме, будет подолгу смотреть, разглядывать, наслаждаться подарком, не предвидя тех огорчений, которые его ожидают.

Мы мало знаем о том, как Тропинин писал портрет. В рассказах о нем больше внимания уделялось пропаже, обстоятельства которой так и не были выяснены. Различные догадки, соображения, легенды заслонили остальное. Несколько слов сказал Тропинин много лет спустя, когда его просили подтвердить авторство и портрет реставрировать. В передаче Н. Рамазанова — он лично знал художника, изучал его творчество, — слова эти звучат так:

«И тут-то я в первый раз увидел собственной моей кисти портрет Пушкина после пропажи и увидел его не без сильного волнения в разных отношениях: он напомнил мне часы, которые я провел глаз на глаз с великим нашим поэтом, напомнил мне мое молодое время, а между тем я чуть не плакал, видя, как портрет испорчен, как он растрескался и как пострадал, вероятно валяясь где-нибудь в сыром чулане или сарае. Князь Оболенский просил меня подновить его, но я не согласился на это, говоря, что не смею трогать черты, наложенные с натуры и притом молодою рукою, а если де вам угодно, я его вычищу, и вычистил».

Но больше, чем слова, говорят о работе художника подготовительные наброски — рисунки и этюд маслом на доске.

Этюд, кажется мне, достовернейшее изображение поэта, сделанное с натуры. Тут нет еще образа, увиденного художником, разве лишь первое движение к нему. Здесь Пушкин такой, каким появился перед острым взором

Тропинина, схваченный и запечатленный стремительной кистью. Именно такой, каким был в первую зиму после освобождения, — на гребне волны, на взлете.

В майском номере журнала «Московский телеграф» появился отзыв о портрете:

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois quarts, в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно (т. е. в совершенстве. — Н. Б.) схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиогномия Пушкина, столь определенная, выразительная, что всякий хороший живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно: гений пламенный, оживляющийся при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица».

Об изменчивости лица поэта говорилось не раз, вот свидетельство в письме тех месяцев: «...впрочем, он все тот же, так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению».

Этюд Тропинина передает мгновенность выражения, готового тотчас перемениться. Вероятно, Пушкин был нелегкой моделью — он не терпел неподвижности, а значит, не любил позировать. Вряд ли поэт проводил в мастерской художника много времени, должно быть, Тропинину приходилось больше работать, имея перед глазами этюд и карандашные наброски.

Летом 1827 года у Соболевского умерла мать, к которой он, взрослый, сохранил совсем детскую привязанность. Это была не только потеря единственного близкого

человека, но и перемена в жизни. Он, незаконнорожденный, не получает никакого наследства, у него есть только то, что мать, вдова бригадира Лобкова, выделила еще при его рождении. Друзья советовали напомнить больной матери о завещании, но Соболевский не хотел, не мог с ней об этом говорить, и все досталось законным ее наследникам. Отец Соболевского, граф Соймонов, к судьбе сына относился безучастно. Надо было изыскивать средства самому. Соболевский приходит к решению изучить бумагопрядильное дело и с этой целью поехать за границу.

Как только поездка определилась, Соболевский передает самое ценное из своего имущества — библиотеку и портрет Пушкина — на хранение другу — И. В. Киреевскому. Иван Васильевич живет у матери, Авдотьи Петровны, по второму мужу Елагиной. Соболевский отдавал свое «имение», как тогда говорили, в надежные руки, в каменный дом, которому не угрожали столь частые в те времена московские пожары.

Собираясь в Петербург хлопотать о выезде за рубеж, Соболевский, вероятно, зайдет проститься к Киреевским-Елагиным. Иван Васильевич пошлет доложить матери: ей хотелось выразить соболезнование осиротевшему молодому человеку, который часто у них бывал. Она спросит его о намерениях — куда и зачем едет, надолго ли? Он признается, что кроме практических задач, изучения прядильного производства, хочет познакомиться с европейскими странами — он никогда доселе там не бывал. Зайдет разговор об искусстве, архитектуре, писателях и поэтах Запада. Авдотья Петровна скажет, что и сыновьям ее мог быть полезен подобный вояж. Соболевский и старший Киреевский заговорят о тех, кому нужен вольный воздух Европы: о сосланном в Россию Адаме Мицкевиче, с которым дружны, о Пушкине, возвращенном из

ссылки. Вот кого Соболевский хотел бы увезти с собой в Италию, Францию. — Возможно ли это? — Надо предпринять шаги, хлопотать надо. Пушкин может обратиться к его величеству государю. — Кстати, где сейчас Пушкин? — В Петербурге, уехал в мае, семь лет там не был, три года не видал родителей.

Тут Соболевский вздохнет — привязался он к Александру Сергеевичу за месяцы совместной жизни. — Не хотите ли взглянуть на него? — он имеет в виду портрет. Да, конечно, охотно, художество не чуждо Авдотье Петровне, она сама сделала силуэт Пушкина, разве Соболевский не видел? Она рассматривает портрет, хвалит. — Жаль расставаться, — скажет Соболевский. — С портретом или подлинником? — С тем и другим. Полюбил обоих. — Хотите, сделаю для вас копию, маленькую — повезти с собой? — Соболевский молча, с признательностью, целует ее руку. Он не уверен в успехе, но тронут. Когда он едет? Ах, еще нет разрешения... Но завтра же она велит купить на Кузнецком все необходимое и приступит к работе. Киреевский обещает выслать портрет, как только будет готов, в Петербург. А может, Соболевский еще будет в Москве? — Возможно, возможно, — как пойдут дела, отъезд за границу — предприятие нешуточное. Надобно выправлять бумаги. — Да, бумаги, бумаги — не можем мы жить без бумаг.

Пока Авдотья Петровна готовится к работе за мольбертом, на котором установлен небольшой подрамник, обтянутый тонким полотном, пока грунтует и размечает холст, Соболевский и Пушкин встречаются в Петербурге.

Встреча накоротке: Пушкин уезжает в деревню. Соболевский говорит, как славно было бы и Пушкину собраться в чужие края — поехать вместе. Пушкин напоминает: он уже просился в Европу, ему предложили в Ригу, да, испугавшись, кончили Псковом. Соболевский

возражает: то было в другую пору, разве теперь Пушкин не может попросить государя? — Нет, о чем тут говорить, да и некогда говорить, и просить неохота. — Ты все же подумай! — Ладно, успеется.

В конце июля Пушкин уже в Михайловском.

Авдотья Петровна работает с увлечением, в августе портрет готов. Вот высохнут краски, и можно окантовывать. «И отправится Александр Сергеевич вместе с Сергеем Александровичем путешествовать». — Авдотье Петровне нравится так говорить.

«Матушка велела тебе сказать, — пишет Иван Киревский Соболевскому 30 августа 1827 года, — что Пушкина получишь скоро, ибо он почти сух».

Посылать портрет в Петербург нет надобности, Соболевский еще будет в Москве, вот только кончит дела в столице. А дела идут медленно. В сентябре он собирается в Михайловское дня на четыре. Он пишет Рожалину в Москву в конце месяца: «Постарайтесь, молодые люди, о Вестнике. И я стараюсь, то есть еду завтра в Псков к Пушкину...»

Кроме забот о «Московском вестнике» — получить для журнала что-нибудь написанное поэтом, договориться на будущее, — Соболевский хочет убедить Пушкина хлопотать о поездке за границу.

Бирюч не знает, что его намерения и планы известны Третьему отделению чуть ранее того, как он успевает додумать их сам.

Еще за месяц до отправленного Рожалину письма, — перехваченного и доставленного шефу жандармов, — Бенкендорф прочитал донесение одного из самых ценных своих агентов, писателя, журналиста Фаддея Венедиктовича Булгарина, который открывал перед бдительным оком



тайной полиции недра литературы, где, как известно, и зарождаются вибрионы свободомыслия и непослушания.

Вот что писал Фаддей, хитро прикинувшийся заботливым папенькой литературных талантов:

«Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь, как дитя. Он поэт, живет воображением, его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом».

Берегла Пушкина тайная полиция как могла — ходили по пятам, подслушивали, подглядывали, разнохивали. Вернулся Пушкин в Петербург 16 октября, встретился с Соболевским, с которым опять проводит много времени, и об этом следует донесение:

«Поэт Пушкин здесь, он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит на свой счет. Соболевского прозвали брюхом Пушкина. Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в смысле политическом».

Все знают, все ведают! Даже и то, что поэт чувствует:

«...Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках (т. е. придирках. — *Н. В.*), что он хотел умереть». Это донесение, последовавшее с некоего «литературного обеда», вероятно, опять Булгарина. На обеде Пушкин пил за царя, воскликнув при сем: «Он дал мне жизнь и, что гораздо более, — свободу: виват!»

Поведение поэта на «литературном обеде» не понравилось Бенкендорфу: чересчур говорлив, излишне откровен: На обороте доноса шеф написал собственноручно: «Приказать ему явиться ко мне завтра в три часа».

И «виват» надо кричать, подумав.

А Пушкин все еще наслаждается свободой, он искренне благодарен за нее, что могло с ним быть — он хорошо

представляет, примеров было достаточно, и хоть сам он жил в Михайловском, на Сенатской площади не был, стихи его представляли в делах следствия. «Я от жандарма еще не ушел», — писал Пушкин Жуковскому из ссылки в начале 1826 года.

А как теперь — ушел или не ушел? Пушкин считал, что ушел.

Нас было много на челне;  
Иные парус напрягали,  
Другие дружно ушिरали  
В глубь мощны веслы. В тишине  
На руль склонясь, наш кормщик умный  
В молчаньи правил грузный челн;  
А я — беспечной веры полн, —  
Пловцам я пел... Вдруг лопо волн  
Измял с палегу вихорь шумный...  
Погиб и кормщик, и пловец! —  
Лишь я, таинственный певец,  
На берег выброшен грозою,  
Я гимны прежние пою  
И ризу влажную мою  
Сушу на солнце под скалою.

Отъезд Соболевского за границу откладывается до будущего года, и в ноябре он снова возвращается в Москву. Авдотья Петровна рада — она передаст ему портрет из рук в руки, ей хочется увидеть по лицу Сергея Александровича, нравится ли ему подарок, сама она довольна, иначе не написала бы Жуковскому, другу и родственнику:

«...У вас будет Соболевский по комиссии Вяземского и привезет от меня поклон... велите ему показать себе портрет Пушкина моей работы, и если что вам вздумается передать нам, то с ним можете, ибо скоро опять сюда будет».

Маленькая копия с тропининского портрета умело окантована, она сидит глубоко в рамке, выклеенной из нескольких слоев картона, окрашенной в светло-коричне-

вый цвет, по краю обведенной золотым бордюром. По углам рамка украшена виньетками, и все вместе закрыто стеклом чистой воды, не искажающим изображение и цвет. Все сделано с тщанием и любовью.

«Дарю вам Пушкина», — говорит Авдотья Петровна и смотрит — доволен ли Соболевский? Он благодарен, он растроган, улыбается, целует ее руки. Он уже заметил, что копия не передает точно подлинника: женская рука смягчила образ, созданный знаменитым портретистом, сгладила характерные черты — менее выдаются нос и губы, уменьшен рот, смягчен его рисунок, округлен подбородок, меньше, аккуратнее ухо, тоньше и длиннее шея. Пушкин в копии Авдотьи Петровны кажется Соболевскому юным, мягким, даже несколько женственным. Женская работа, но все же хорошая работа, и Пушкин остается Пушкиным, хоть и не тропинским, скорее елагинским!

— Благодарствуйте, благодарствуйте, портрет поедет со мной, хоть имею еще надежду захватить и подлинник! Нет-нет, не тропинский, а живой. — Уговорили? — Тут дело не в уговорах... — Ах, да — в дозволении. — В разрешении. Мы оба надеемся.

Пушкину очень хочется ехать с Соболевским. Бирюч так заманчиво нарисовал ему itinéraire — маршрут — их странствий по чужим краям. Они оба впервые увидят мраморы и краски Италии, ее соборы, ее гондолы, услышат ее голоса. А Франция — вторая родина русской ари-



*А. С. Пушкин. Копия А. П. Елагиной с портрета В. Тропинина. 1827.*

стократии? Париж, собор Богоматери, прекрасный и таинственный, знаменитый салон мадам Рекамье, где встречаются и беседуют поэты, политики, всемирно известные и восходящие звезды; Германия, взрастившая новую философию, которой поклоняются наши молодые «любомудры», и великий сын сей страны — Гете!

И Пушкину видится и слышится Италия, куда прежде всего собирается путешественник, страна, о которой Пушкин знает по рассказам, картинам, поэзии и музыке. Увидит ли он ее когда-нибудь? Вопреки бодрым предсказаниям настойчивого Бирюча, Пушкин не обольщается надеждой.

Близ мест, где царствует Вепеция златая,  
Один, ночной гребец, гондолой управляя,  
При свете Веспера по взморью плывет,  
Ринальда, Годфреда, Эрминию поет.  
Он любит песнь свою, поет он для забавы,  
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,  
Ни страха, ни надежд, и, тихой музы полн,  
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.  
На море жизненном, где бури так жестоко  
Преследуют во мгле мой парус одинокий,  
Как он, без отзыва утешно я пою  
И тайные стихи обдумывать люблю.

А может, Соболевский прав, надо просить, зачем сдаваться прежде боя, теперь, когда государь даровал ему свободу, как же могут быть препятствия использовать ее именно так?

Наступает весна 1828 года. Весна для Пушкина всегда тяжела: тоска, хандра, лихорадка. Он не любит весны, не находит себе места, дела. Ум, сердце цепенеют.

14 апреля Россия объявляет войну Оттоманской Порте — Турции. Может, проситься на войну, если нет приращения его уму и силам в государстве российском? Вот и Вяземский собирается. Он, Пушкин, отличный стрелок, наездник, смел, скор. В этом деле ему не откажут, тут

идет речь не об удовольствии, тут жизнь или смерть, и у смерти более прав, чем у жизни.

Трехдневная переписка с шефом жандармов. Какой натиск со стороны Пушкина! Как быстро реагирует Бенкендорф! Три письма. Последнее — Пушкина. Ответ на него будет устным, документа не сохранится. Только свидетельство чиновника Третьего отделения.

Пушкин — Бенкендорфу. 18 апреля 1828 года.

«...По приказанию Вашего превосходительства, являясь я сегодня к Вам, дабы узнать решительно свое назначение, но меня не хотели пустить и позволить мне дожидаться.

Извините, Ваше превосходительство, если вновь осмеливаюсь Вам докучать, но судьба моя в Ваших руках и Ваша неизменная снисходительность ободряет мою нескромность...»

Бенкендорф — Пушкину. 20 апреля 1828 года.

«...Я докладывал государю императору о желании Вашем, милостивый государь, участвовать в начинающихся против турок военных действиях; его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты...»

Вяземский получил отказ в тех же словах. Будто «я просил командования... корпусом или по крайней мере дивизией...» — скажет остроумник-князь с горечью. Истинная причина, конечно, в другом: правительство не доверяет обоим и допускать их в самое нутро армии не желает.

Пушкин — Бенкендорфу. 21 апреля 1828 года.

«...Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите мне испросить от государя сие драгоценное дозволение, то Вы мне сделаете новое, истинное благодеяние...»

Бенкендорф эту просьбу доводить до сведения императора не считал нужным. Он посылает к Пушкину своего чиновника, А. А. Ивановского, с поручением внушить поэту, что с такой просьбой и обращаться не следовало. Вспоминая об этом визите много лет спустя, когда посмертная слава поэта заставит собирать все крохи памяти, Ивановский расскажет с умилением, как заболевший с горя Пушкин, растроганный тем, что царь, цenia его дарование, не пускает его под пули, сам отказывается от мысли о Париже.

Ивановский описывает жалостный вид больного, пожелтевшего лицом и глазами, и заканчивает свой рассказ с неожиданной бодростью: Пушкин радостно принимает приглашение Бенкендорфа явиться к нему завтра в семь утра.

Зачем? Все уже сказано, во всем отказано. Лихорадка, тоска. Пушкин подавлен. Где же свобода? Вспоминается мрачная шутка Вяземского о короткой привязи. Да, да — он на привязи. Царь даровал ему свободу, мерси, мерси. Но когда же он ее ощутит, эту свободу? Свободу распорядиться собой, свободу печатать сочинения, простую свободу — двигаться, ехать, черт возьми, куда хочешь.

Неужели выход из несвободы только один — смерть? Тоска, тоска...

В степи мирской, печальной и безбрежной,  
Таинственно пробились три ключа:

Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,  
Кипит, бежит; сверкая и журча.  
Кастальский ключ волною вдохновенья  
В степи мирской изгнанников поит.  
Последний ключ — холодный ключ забвенья,  
Он слаще всех жар сердца утолит.

День рождения этой весной Пушкин встречает в тяжелом, мрачном настроении.

*26 мая 1828*

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дапа?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомнеьем взволновал?..

Цели нет передо мною:  
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою  
Однозвучный жизни шум.

Соболевский уезжает в Европу один в конце ноября 1828 года. Пушкин не провожает его — он гостит в тверском имении Вульфов, в Малинниках. Может, ему не хочется никого провожать.

С Сергеем Александровичем прощаются москвичи, основательно прощаются. «Я выехал из Москвы, плотно поужинав у Яра в три часа поутру», — записал он в дневнике.

Соболевский проезжает через Польшу, остановившись в Варшаве, это еще Российская империя, и через Вену отправляется в Италию. 20 декабря он в Венеции, новый год встречает в Болонье, а затем полгода проводит во Флоренции.

Кто знает край, где небо блещет  
Неизъяснимой синевою,  
Где море теплою волной

Вокруг развалин тихо плещет;  
Где вечный лавр и кипарис  
На воле гордо разрослись;  
Где пел Торквато величавый...

Радости первого знакомства с Италией, беззаботность и свобода, богатство впечатлений не заслоняют памяти о Пушкине. Бирюч скучает без друга. В одном из писем к Ивану Киреевскому он пишет:

«Прошу тебя написать мне больше о Пушкине — как и когда приехал, где и как жил, в кого влюблялся и когда едет... Желая иметь список взятых Пушкиным книг...» Заканчивается письмо призывом: «О, Пушкин, Пушкин, пиши мне!!! Я тебя здесь хвалю, величаю...»

Соболевский не знает, куда писать Пушкину — у него нет адреса. Пушкин не пишет ему. Пушкин никуда не едет.

Вместе с Сергеем Александровичем странствует маленькая копия тропининского портрета. А что же сам подлинник, оставленный для сохранности в каменном доме Елагиной, у ее сына Ивана Киреевского?

Портрет исчезает. Вместо него в раме оказывается плохая копия, сделанная точно в размер. Как, когда происходит подмена? Хранители портрета не знают.

До нас дошли предположения двоих людей, к которым надо прислушаться. Остальное — легенды. Эти двое — Соболевский и Погодин. Вот что вспоминают оба сорок лет спустя.

Соболевский в заметке для Погодина написал, что приятель его, И. В. Киреевский, давал портрет «крепостному чьему-то маляру (не знаю имени маляра или имени его хозяина) для добывания копиями барышей (сей маляр жил до моего отъезда у Шевырева)».

Погодин исправил это место в заметке Соболевского так: «У которого-то из них, первого или второго (Киреев-



евского или Шевырева. — Н. Б.), крепостной живописец (я помню его — его звали Александром) выпросил портрет для снятия копии — и возвратил не портрет, а копию».

«...Кто дал зевка — Киреевский или Шевырев — следы простыли», — добавляет Соболевский.

Но ни Погодин, ни Соболевский не упоминают о том, что все «хранители» портрета просто-напросто разъехались. Вслед за Соболевским в Италию отправились братья Киреевские, а также живший в доме Елагиных Шевырев.

Всемосковский исход, то есть «Московского вестника» исход, в чужие края. Присоединяется к нему и ссыльный поэт Адам Мицкевич: он получил разрешение, он едет в Рим гостем к Зинаиде Волконской. В обществе русских в Италии и два знаменитых художника — Брюллов и Кипренский. Брюллов рисует шарж на Соболевского с Кипренским, оба какие-то взъерошенные, повернулись друг к другу, чуть ли не касаясь носами, кажется, спрят.

Веселая, свободная жизнь!

Пушкин мечтал о путешествии — один глоток, один вздох свободы и независимости. Только полгода! Отказ был обиден, непонятен, настораживал.

Желание, многолетняя мечта увидеть иную жизнь, другие страны выльется потом в стихотворении «Не дорого ценю я громкие права...».



О. Кипренский и С. Соболевский. Шарж К. Брюллова. Рим, 1829.

...Никому  
Отчета не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;  
По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам...  
И пред созданными искусства и вдохновецья  
Трепеща радостно в восторгах умиленья.  
— Вот счастье! вот права...

Испытать это счастье Пушкину так и не довелось.

Все странствуют. О портрете забыли, и он остался в руках крепостного живописца. Вряд ли тот собирался заняться изготовлением многих копий — работа трудная, долгая. Даже одну копию делать просто так, без заказа, не зная, купит ли ее кто-нибудь, живописец не решился бы. Надо думать, на копию был заказчик. Но копия не удалась. Она далека от подлинника, не передает тропининской манеры, живости его кисти, да и Пушкин получился непохожим. Может, сам копийист убедился в своей неудаче, может, заказчик отверг его работу и тогда, должно быть, незадачливый живописец, не получив «барыша», решается на кражу. Никто не следит за возвращением портрета. Его принимает, вероятно, кто-либо из слуг, и копийист водворяет раму с портретом своего изделия на прежнее место в чьих-то пустующих сейчас апартаментах. Никто не заходит в эти комнаты, не замечает, что в раме находится не подлинник Тропинина, а неудачная копия. Некому это замечать.

Живописец-мошенник, вероятно, не смог или не решился продать портрет, а может, его не решились купить: два знаменитых имени, художника и поэта, могли грозить разоблачением и неприятностями. Так и пролежал портрет, сначала спрятанный, затем брошенный и забытый, пока не попал в лавку старьевщика — может, к Волкову, может, к Бардину.

У обоих продавался всякий хлам — сломанные мебели и канделябры, разрозненные подсвечники, разбитый

фарфор, изгрызенные мышами книги, старое платье. По стенам висели потемневшие холсты на подрамниках: пейзажи — рожи и парки, портреты — дамы с высокими прическами, господа в париках, чьи-то бабки и деды, а в углу валялись свернутые полотна, потертые и помятые. В этих лавках можно было найти подлинные ценности. Любитель поисков и случайных находок — князь Михаил Андреевич Оболенский, директор архива министерства иностранных дел, нашел портрет Пушкина в одной из этих лавок в 1850 году. Помните, он пригласил Тропинина — опознать свою работу, ее «подновить», и художник реставрировал пострадавший портрет.

Но вернемся в тридцатые годы. После пятилетнего отсутствия Соболевский, побывавший кроме Италии во Франции, Германии, Англии, Голландии, возвращается в Россию.

В Петербурге он торопится увидеть Пушкина. «Я возвратился из заграницы 22 июля 1833 г. чуть ли не в день или на другой день крестин Сашки Пушкина, младшего. Несколько дней спустя Александр Сергеевич и я поехали вместе и доехали до Торжка».

В августе Пушкин получил разрешение поехать в Оренбург и Казань. Он собирается писать роман из времен пугачевского восстания — это будет «Капитанская дочка». На запрос императора, зачем нужна эта поездка, Пушкин отвечал генералу А. Н. Мордвинову, заменявшему временно Бенкендорфа. В черновике письма он писал открыто, искренне:

«В продолжении двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий (имеется в виду работа над историей Петра I. — *Н. Б.*) и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имеею нужду... Может быть, государю угодно знать, какую именно

книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии».

Пушкин действительно нуждался в уединении, ему необходимо было собрать силы и мысли, преодолеть творческую размагниченность, о которой даже добрый друг Плетнев говорил с необычной для него язвительностью:

«Пушкин ничего не делает, как утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной».

Соболевский записал в дневник кратко (по-французски): «17 августа выехал в Москву вместе с Пушкиным... 18-го в дороге».

Пушкин пишет 20 августа жене из Торжка о совместном путешествии:

«Мы с Соболевским шли пешком 15 верст, убивая по дороге змей, которые обрадовались сдуру солнцу и выползали на песок. Вчера прибыли мы благополучно в Торжок, где Соболевский свирепствовал за нечистоту белья. Сегодня проснулись в 8 часов, завтракали славно, а теперь отправляюсь в сторону, в Ярополец — а Соболевского оставляю наедине с швейцарским сыром».

Конечно, пешком пятнадцать верст шли не ради охоты на змей — в тишине, вдвоем хорошо было поговорить обо всем, о чем не успели в петербургской суете: о заграничных встречах Сергея Александровича, о том, что написано и что пока не пишется у Александра Сергеевича, о литературе европейской и отечественной, о стараниях цензуры уберечь и предостеречь нашу литературу от пагубных ошибок вольнодумства и многое другое, житейское.

Три дня вместе в пути — большой срок.

От Торжка приятели разъехались по проселочным дорогам: Пушкин — в Ярополец, имение своей тещи, Собо-

левский — в Теплое, владение отца. Это было в воскресенье.

А в субботу встретились опять — в Москве. Соболевский остановился у Киреевского, Пушкин пришел к ним. Назавтра поэт, поздравляя жену с днем рождения, напишет: «Вчера пил я твое здоровье у Киреевского с Шевыревым и Соболевским».

Это было в Натальин день.

В воскресенье 27-го Соболевский получает записку от Пушкина:

«Пожалуй-ста приезжай ко мне, к обеду: мне с тобою непременно надо поговорить».

О чем разговор — неизвестно, но видно, что возникла срочная надобность увидеться с Бирючом.

Через два дня Пушкин уезжает в Нижний Новгород, и Нащокин, у которого остановился Пушкин, провожает друга «шампанским, жженкой и молитвами».

Отшумели московские дни: встречи, разговоры, проводы. Пушкин в пути. Соболевскому пора вспомнить о портрете.

Вот что произошло в доме Елагиных и о чем Сергей Александрович написал тридцать пять лет спустя.

«По возвращении моем из-за границы (где я провел пять лет) оказалось: 1) Что приятель... портрет и библиотеку... передал другому приятелю... 2) Но тут очутилось, что в великолепной рамке был уже не подлинный портрет, а скверная копия с одного, которую я и бросил в окно».

Еще позднее рассказала об этом внучка Авдотьи Петровны, М. В. Беэр.

«Когда Соболевский возвратился и приехал за портретом, то к ужасу и огорчению Авдотьи Петровны объявил, что портрет подменен, что это — плохая копия, которую он взять не хочет... Авдотья Петровна очень рассерди-

лась на Соболевского, считая это одной из его причуд. С этой уверенностью и жила бабушка почти сорок лет, когда совершенно неожиданно и таинственно всплыло наружу, что Соболевский был прав.

Представим сцену, в которой столкнулись два огорченных и раскаленных — возмущенным, негодованцем, упрямством, упорством — человека, расположенных друг к другу немало лет.

Встреча начинается мирно: Соболевский благодарит Елагину — маленький портрет Пушкина утешал его в разлуке, тем более что поэт не баловал письмами.

— Где он страствует сейчас? Я разумею не портрет, а Пушкина, — спрашивает Авдотья Петровна.

— В Казани или уже в Симбирске. К сожалению, не имею известий. А где мой Пушкин — Пушкин, подаренный мне Пушкиным?

— Там, где вы его оставили, — в библиотеке. Ах, нет, библиотеку перевели в другие комнаты. Вероятно, портрет в диванной. Пойдемте туда.

В комнате, где висят несколько портретов, темновато. Соболевский, вглядывается: где же Пушкин?

— Друг мой, он же напротив вас!

— Что такое? Не понимаю. Надобно поднести к свету.

Авдотья Петровна приказывает слуге снять портрет со стены и подать к открытому окну.

— Это не он! — кричит Соболевский. — Что это значит? Что случилось?

Елагина растеряна. Она всматривается в портрет и находит его изменившимся. Может ли статья? Живопись темнеет, но тут будто изменились черты... Нет, вероятно, как это возможно? Такое не бывает.

— Вы требуете от меня объяснений? Могу сказать одно: как вы его вставили в раму, так он в пей и паходится. Когда я работала, его из рамы не вынимали.

— Разве вы не видите?! Это не подлинник, это копия, притом дурная. Какой-то чиновник прилизанный... Чиновник сидит на месте Пушкина, вы понимаете? Вы что, в самом деле не видите?

— Не выдумывайте, Соболевский. И не кричите. Я не люблю, когда на меня кричат. То, что вы привезли, то самое можете обратно получить. К чему вы придираетесь, не вижу...

— Откройте же глаза... Вглядитесь, вы же делали с него копию.

— Да, делала. Именно с него я и делала копию.

— Однако вы упрямы. Неужели не видите? Впрочем, — не считите за дерзость, — может, вам следует обзавестись очками? А эту дрянь, эту мерзкую мазню я не возьму. Слышите: не возьму! К черту! Parbleu!

Соболевский ревел, как бык, позабыв всякое приличие, но сквозь рев чуть ли не слезы слышались.

— Как так — не возьмете? Возьмете! Портрет принадлежит вам, нам он не нужен, извольте немедленно взять его к себе!

У Авдотьи Петровны тоже дрожит голос.

— Mercі, grand mercі! Премного благодарен.

Соболевский берет портрет, поднимает и, подержав его в вытянутых руках, будто собирается убить им Авдотью Петровну, с силой швыряет в распахнутое окно. Стук, треск — разбилась тяжелая лепная рама. Елагина плачет и, всхлипывая, велит слугам узнать, не прибило ли кого, собрать «все, что там валяется, занести в прихожую».

Соболевский — разгневанный, с одышкой, покрасневший лицом и шеей, — молча отступает к двери и, повернувшись, кланяется с изящной галантностью, но губы его произносят беззвучно нечто убийственное для дамских ушей.

Так ли это было или не совсем так, но близкое к этому уже случалось с Авдотьей Петровной. Тогда она тоже

сопротивлялась, спорила, настаивала на своем. Жуковский оставил ей на сохранение часть библиотеки, а потом, забрав книги, обнаружил, что не хватает многих томов. В письме, написанном 29 сентября 1828 года, Елагина кается перед Жуковским:

«Помните, некогда вы упрекали меня, что я худой сторож вашего имения, я огорчалась, ревела, плакала, бранилась, и вышло, что я кругом виновата! — Теперь муж в деревне нашел какой-то сундук запертой, запечатанной и запрятанной далеко...»

Упряма была Авдотья Петровна, упорно не признавала своих промахов, но потом отходила и, отойдя, — вилась.

Конечно, не она, а кто-то из родни ее пытался впоследствии выдать брошенную Соболевским копию за авторское повторение Тропинина. На оборотной стороне рамы, в которой копию передали Русскому музею после юбилейной Пушкинской выставки 1899 года, была сделана наклейка, и на ней почерком позднейшего времени написано:

«Портрет Пушкина 1828 раб. худ. Тропинина; снят им с портрета Пушкина его же работы по просьбе Соболевского. Последний уплатил за это Тропинину 500 руб.».

Здесь каждая фраза — ошибка, и читатель, если он был внимателен к моему повествованию, легко обнаружит эти ошибки сам.

Соболевский тяжело и долго переживал утрату. И сорок лет спустя думал, нельзя ли осудить у теперешнего владельца похищенный портрет. Но нет, нельзя: что упало, то пропало. Надо было беречь, а беречь, как видно, в семействе Елагиных не умели. Вот и уменьшенная копия с тропининского портрета, собственноручная Авдотьи Петровны работа, сделанная при жизни Пушкина для



его друга, не только семейная, народная реликвия — в каком виде оказалась она? Окантовка разрушена, живопись пострадала, картонный задник загрязнен. А ведь на этом картоне автограф Соболевского.

Изящным, тонким почерком написано:

«Уменьшенная копия с портрета, заказанного А. С. Пушкиным Тропинину в 1827 году. — Этот портрет украли; он находится теперь у князя Мих. Андр. Оболенского.

Уменьшенная копия сделана в 1828 году Авдотьею Петровною Елагиною по случаю отъезда Соболевского в чужие края. *Соболевский*».

Указаны все даты, сказано, для чего и кем сделана копия, упомянут тропининский подлинник — его пропала, назван новый владелец портрета.

В обстоятельствах этой записи ощущается страх, будто Соболевский и теперь боится каких-то утрат: подмены, похищения, обмана. Только ли пережитые ранее потрясения и огорчения заставляют его быть осторожным?

Нет. Он владеет теперь другим сокровищем — тропининским этюдом к портрету своего великого друга. На обороте доски, на которой Тропинин писал Пушкина с натуры, Соболевский сделал две записи: утверждал владельческое право на этюд, ранее принадлежавший другим, и упомянул вновь о пропаже портрета Пушкина. Надпись на обороте доски, сделанная по-французски, более подробно дается по-русски на бумажной наклейке.

«Пушкин заказал Тропинину свой портрет, который и подарил Соболевскому. Этот портрет украли. Он теперь у кн. Мих. Андр. Оболенского. Для себя Тропинин сделал настоящий эскиз, который после него достался Алексею, после Алексея был куплен Н. М. Смирновым, а после Смирнова (ок. 3 марта 1870 г.) подарили его Соболевскому. Апреля 1870 Соболевский».

Алексеев Николай Степанович — друг Пушкина по Кишиневу — умер в марте 1854 года, Смирнов Николай Михайлович — муж приятельницы Пушкина А. О. Рос-

сет-Смирновой — скончался 4 марта 1870 года. Вероятно, этюд подарил Соболевскому сама Александра Осиповна после смерти мужа.

В этих надписях Соболевского — на копии, на этюде, — повторяющих одними словами о пропаже тропининского шедевра, чувствуется не затихшая с годами боль — Соболевский не мог утешиться. Теперь, когда он смотрит на тропининский этюд, изображающий Пушкина в год их совместной жизни и дружбы, боль эта становится еще сильнее: Соболевский был убежден, что он сумел бы предотвратить роковую дуэль, если бы не был в 1837 году снова в чужих краях.

Сергей Александрович умирает в октябре 1870 года — через полгода после того, как делает записи на обороте портретов.

Уменьшенная копия, сделанная Авдотьей Петровной, и подробная аннотация Соболевского разбили легенду, сложившуюся вокруг копии-подделки, которой вор-живописец подменил подлинник. Копию-подделку называли «елагинской копией», а то, что она оказалась у Елагиных, объясняли так: Соболевский будто бы высказывал пожелание, чтобы эту копию после его смерти отдали Елагиным, и некий незнакомец выполнил эту миссию. Поддерживалась легенда серьезным свидетелем. Издатель «Русского архива» П. И. Барте́нев, собиравший воспоминания современников о поэте, публиковал записанные Н. В. Бергом «Рассказы Соболевского» и сделал к ним такое примечание:

«Упомянутая выше копия с тропининского портрета Пушкина была подарена Соболевскому Елагиными, и мы пользуемся здесь случаем заявить, что многократно в нашем присутствии покойный Соболевский выражал желание, чтобы по смерти его этот портрет был возвращен в дружеский ему дом Елагиных».

Примечание Барте́нева относили к копии-подделке, пока не обнаружилась уменьшенная копия. Теперь все

неясное, что в свое время напугалось вокруг копии-подделки, объявленной когда-то тропининским повторением, проясняется. Не могла копия-подделка, выброшенная Соболевским в приступе гнева в окно, оказаться вдруг у него, и не мог он завещать ее «дружескому дому Елагиных». Право называться «елагинской копией» имеет только маленькая копия, сделанная Елагиной в 1828 году для Соболевского. Ее-то и завещал он елагинскому дому после своей смерти.

А внезапное исчезновение тропининского подлинника, так напугавшее Соболевского и Елагину в 1833 году, долго действовало на умы и воображение людей. Таинственное изменение созданного художником образа, способность изображения покинуть раму, уйти с полотна — не эти ли волшебные сюжеты заставили князя Оболенского наложить красные сургучные печати с княжеским гербом на все стороны подрамника, закрепив еще и так полотно с шедевром Тропинина?

Выехав из Москвы 29 августа, месяц провел поэт в поездках по местам пугачевского восстания и в начале октября уже был в Болдине. Вторая болдинская осень тоже была плодотворна. «Недавно расписался и уже написал пропасть», — сообщает Пушкин жене. Через месяц он привезет в Петербург «Медного всадника», «Анджело», «Историю Пугачева», две сказки, неоконченные повести и несколько стихотворений.

Только один месяц уединения и тишины. Один месяц осени.

И забываю мир — и в сладкой тишине  
Я сладко усыплен моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться наконец свободным проявленьем —

И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге;  
Минута — и стихи свободно потекут.  
Так дремлет недвижим корабль в недвижимой влаге,  
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут  
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;  
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?

. . . . .

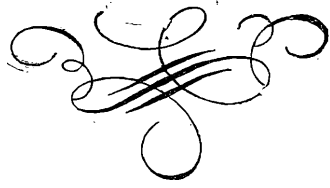
На обратном пути Пушкин живет в Москве три дня. Он никуда не показывается: везет домой отраченную бороду, хочет удивить жену своим новым видом.

Узнал ли Пушкин осенью 1833 года о пропаже портрета, поднесенного пять лет назад с шутками и смехом «молчановскому съезжему приставу»? Может, и не узнал: в те дни это неприятное сообщение могло потонуть в потоке интересных новостей, привезенных Соболевским с Запада, Пушкиным — из восточных губерний.

А если Пушкин узнал, вероятно, утешил огорченного друга, как это было однажды, мудрой пословицей: «Не радуйся напед, не плачь потеряв».

## II

Пушкин и Нащокин. Рассказ  
●  
Повесть о Наталье Николаевне



## У ВОЙНЫЧА НА МЕЛЬНИЦЕ



**М**не хотелось, чтобы это были чьи-то записки, дневник, или, как еще называли тогда, «журнал» — подневные записи. Пусть это будет старая растрепанная тетрадь без начала и конца, — думала я, — разрозненные страницы, отдельные сцены из жизни дома, похожего, как говорил сам хозяин, на мельницу или «городскую кузню». Кому будет принадлежать «журнал»? Пусть ведет его человек сторонний, не близкий к героям повествования, но доброжелательный, теплый. От лица Лонгина Федоровича, случайного домочадца, рассказывается всё озаглавленное «ИЗ ЖУРНАЛА».

А как же разговоры вдвоем, которые, конечно, были? Эти беседы наедине, в ночные часы, описаны автором без посредников и названы «НОЧЬЮ, ПРИ СВЕЧАХ».

Сегодня приехал г-н Пушкин, знаменитый наш поэт и Павла Воиныча друг. Приехал под вечер, с большим шумом. В сенях вопрошал, крича: «Здесь живет господин Нащокин?» Потом сошвыривал калоши со стуком, громко топал зазябшими ногами. Павел Воиныч выбежал вослед слугам, в жилете, без сертука в сени, обнялись с гостем, тот требовал водки вынести задрогшему извозчику, попрекал г-на Нащокина, но уже смеючись, что не уведомил о переезде на новую квартиру: «Занесло тебя к чертям — на ручей Черторой, в чертячье болото, насупротив Чертольского переулка, сейчас снег, а весной вас тут черти утопят!» Так с шумом да шутками прошли в кабинет к хозяину, и отгудова слышен был разговор вперевив да смех.

А мы с Петром Данилычем, старым слугой, дворецким, принялись обсуждать, подавать ли только самовар или разом ужин, и решили: с дороги следует подать и то и другое. Данилыч сказывал, что г-н Пушкин долго плутал с извозчиком в переулках меж Пречистенкой и Арбатом, ища новый адрес и спрашивая всех встречных.

За ужином Павел Воиныч меня представил — г-н Есипов, Лонгин Федорович, художник. Не сказал «учитель рисования», а «художник», тем подняв меня в глазах своего гостя. Много имею доказательств душевной деликатности г-на Нащокина, сие еще одно.

Ныне Павел Воиныч обедал дома и знакомил г-на Пушкина со своими гостями. Он всех не назвал, и убеждаюсь в том, что уже заметил давно, — он не знает твердо имен всех гостящих, а может, не знает и сих людей. Представлены были: отставной гусар с трубкой по имени Жорж, числится в троюродных, монах из евреев, во кре-

щени Митрофан, но зовет себя по-старому Моисей, да новый гость, прибывший из Костромы, — г-н Сулицев, сосед по имени старшего Нащокина, Василья Воиновича. Приятный такой мужчина с античным профилем, к сожалению, кривой на один глаз. Застенчив — больше слушает, мало говорит. Удивительно, что имеет интерес к чтению: дважды заставал его в кабинете хозяина за перебором книг. При одном глазе читать бедняге, должно быть, нелегко. Тем более достоин хвалы.

Павлу Воинычу я не только благодарен за сострадание к моим бедам, я его искренне полюбил. Доброта, великое бескорыстие, открытое сердце не одного меня располагают к сему замечательному человеку.

Попал я в квартиранты к г-ну Нащокину нежданно-негаданно, или, попросту, как старая мебель, оставленная от прежних хозяев. Мое положение у жильцов, съехавших от г-жи Ильинской, владелицы дома, было самое скромное. Хоть и дворянского рода, вынужден я был снискивать пропитание своим трудом, а как имел с юных лет охоту к живописи и музыке, стал домашним учителем, преподавая также русскую грамматику и правописание трем дочерям генеральской вдовы К. Вдова, может, еще долго жила бы в приходе Пятницы Божедомской, коему принадлежал дом г-жи Ильинской, не выпади ей возможность нового брака со вдовцом, также имеющим дочерей. Не знаю, как бы повернулась моя судьба, но все определила карета четверней, сбившая меня у Пречистенского вала и помявшая изрядно правую ногу, что уложило меня в постель надолго.

Владелица дома торопилась сдать его вновь и хотела перевести меня во флигель, от жильцов выходил мне там чуланчик, но Павел Воиныч распорядился не трогать меня из моей комнатки, а Петр Данилович сообщил по их переезде, что велено подавать мне чай и обед наверх,



пока совсем не оправлюсь. «Впоследствии сочтемся», — сказал добрейший Павел Воиных, самолично меня навестивший. Сими словами хотел милый человек успокоить и освободить меня от неловкости. А затем, как я поднялся, сожалел, возможно, о моем калечестве и хромоте, придумал мне дело: заботиться о гостях, заменяя его в отсутствие. Однако должность сия оказалась весьма трудной: гостей, как привыкли понимать, то есть визитеров, было немного, а гостильщиков несть числа, приходили да и оставались — кто на двое суток, а кто и более, сам Павел Воиных в них запутывался, а я и подавно. Мы с Петром Данилычем порой голову ломали, кому где постелить, чтобы не обидеть, да еще обоих съедала тревога: а ну как приютим на ночь лихого человека?

Бывали часто странные люди, а лихие — бог миловал.

Вот хоть взять монаха из выкrestов, чего только он не представлял: и хедер, еврейскую школу, и синагогу с раввином, и столько рассказывал про монашек разного похабства, что терпения не хватало, и решил я на третий день его выпроводить, идите, дескать, к своему монастырю, пора уж. Спросил у Павла Воиныха — может, хватит монаху паясничать? А г-н Нащокин ответил: «Если он паясничать перестанет — от тоски пропадет, он свою веру продал, оттого и мучается». Вот ведь что он в эдаком шуте углядел!

Александр Сергеевич держится любезно и просто, с ним не чувствуешь себя ничтожным. Меня спрашивал, какого рода живопись предпочитаю — портретную или пейзажную, кого из художников ценю более. Впрочем, я не заметил в нем особого интереса к живописному искусству, однако внимание ко мне оценил.

У него самого взгляд художника — светлый и вместе пронзительный, как бы проникающий вовнутрь. Взгляд его вызывает замирение души и легкий озноб по спине,

Глаза у него великолепны, в них игра света, подобно, как в драгоценных камнях, но словами сего не описать, а изобразить на портрете вряд ли возможно.

*Декабря 8-го дня*

День рождения Павла Воиныча. За утренним поздним чаем нас только трое. Поздравляют домашние. Ольга, цыганская любовь П. В., еще не выходит из своих покоев после родов. Г-н Пушкин подарил шкатулку дорожную со всем прибором, а внутри еще ящичек секретный. Купленная в канун на аукционе Власова шкатулка хранилась у меня наверху. Мое скромное подношение — акварельный портрет Павла Воиныча в коричневом сертуке с красным шейным платком, а в руке книжка. Рамочку сделал сам, с вшнъетами. Желая доставить удовольствие имениннику, написал на книжке мельчайшим шрифтом «А. С. Пушкин. Сочинения». Г-н Пушкин посмеялся — «такой книжки нет». А Павел Воиныч добавил: «но непременно будет».

Александр Сергеевич выполнил затем комиссию супруги своей: расцеловал Павла Воиныча, засим выдрал за уши, приговаривая «дурак Нащокин, Нащокин дурак», и поднес портмоне, расшитый собственными ручками Натальи Николаевны. Г-н Нащокин рассиялся, как погожий день, несмотря, что уши горели изрядно.

Слышал я, что г-жа Пушкина ангельской красоты женщина.

Станный разговор с г-ном Сулицевым. Отозвав меня в сторонку, со многими извинениями спросил он, имеет ли Павел Воиныч у себя именные карты?

Не страдая нисколько интересом к играм, я отвечал: полагаю, карты у него есть, хотя дома играет изредка. Заметил, что ответ мой имел на собеседника, задвигав-

шегося на стуле, действие. Я не преминул добавить: «А почему бы, милостивый государь, вам не обратиться прямо к г-ну Нащокину с этим или другими, какие имеются, вопросами?» Г-н Сулищев пробормотал что-то невнятно и заторопился наверх в отведенную ему комнату. Противу первого о нем мнения показался он мне неприятен.

### НОЧЬЮ, ПРИ СВЕЧАХ

Дом спал. Спали слуги, спали гости-ночевщики, спала цыганка-мать с новорожденной девочкой. Тихо потрескивали нагоревшие свечи, не тревожа глухой ночной тишины.

Они сидели вдвоем за ломберным столом в малой гостиной. Уже было переговорено о делах — деньгах, долгах, по зеленому сукну инеем осыпался мел с выписанных столбцами чисел. Один столбец, большой, обозначал самоважнейшие расходы, малый — предполагаемые доходы.

Пушкин окружал цифры завитками и росчерками, Нащокин следил за его рукой, вздыхая так глубоко, что вкус мела ощущался во рту.

— Не по клубу ли заскучал, Войныч?

Пушкин упросил Нащокина остаться дома, а то и поговорить некогда. Возвращается ранним утром, спит за полдень. Днем в доме толчея, шум, песни, гитара, чай, закуски, трубки, разговоры, разные народы — картежники, актеры, заимодавцы, цыгане, купцы-кредиторы, сочинители романов и водевилей, механики по мельничному делу и разные неведомые незнакомцы, и так каждодневно, допоздна.

— Нет, что мне клоб. Грудь что-то теснит. Поверь, я рад бросить карты, да втянулся, не могу. Живу не полюдски, всё не то, не так. Долги дают, ты знаешь, — На-

покин прочертил пальцем по сукну, — но у тебя есть Великие Занятия, я эти слова обозначаю заглавными литерами, я же не имею и малых. Живу, как в большинстве господ дворяне, — без дела, в скуке. Все мы бездельники, если не гении поэзии, как ты, или не великие умы, как Чадаев.

— К слову: я с ним обедаю завтра.

— В клобе?

Пушкин кивнул.

— Он там почти всякий день. Ищет людей, разговоров. Я перед ним робею, хотя стал он проще, не столь подобен греческому антику. Мнится, он скучен — тоже не у дел.

— Он мыслитель, философ — вот его дело.

— Однако, мыслитель должен обозначать мысль словом на бумаге да отдать типографщику — Смирдину или Сленину.

— Ты знаешь, я сказывал, сочинения его не печатают. Цензоры — малые и великие — считают: сейчас не время опубликовывать мысли.

Нащокин усмехнулся на эту шутку.

— Как же стихи твои печатают?

— Стихи можно. Стихи, брат, хитрый орешек. Не всякий раскусит. Впрочем, и стихи не всегда дозволяются.

— Вот, а ты манишь меня в сочинители! Записывать мои бредни. Кто ж их предаст тиснению? Не говорю уж, что, взяв перо, получится полная какография.

— И все ж пиши свои мемории, прошу. Годы пройдут, нас не стапет, как же узнают о нашем времени? А ты сам, и с теми, что вокруг, — целый роман. Чем ежевечерне предаваться банку, или что сейчас в моде — экарте?...

— Давно запретили, макао также — неприлично строгому лицу клоба. Теперь — тинтере.

— Да, я отстал, не ведаю этих дел. Бросил бы ты, а? Жизни жаль — быстро проходит. Прости, что поучаю, не

мне бы говорить, еще висит на мне проигрыш этому дьяволу Огню-Догановскому, двадцать тысяч...

— Опять-таки скажу: хоть карты и не дело, но... занятье. И деньги! Не шути — без выигрыша пропаду. Тут дошло: в лавке свечей на веру не отпускают, как жить без наличных? В темноте сидеть? Да и кормить надо, и не только кормить...

Нащокин указал на потолок — там наверху его по-друга, певица знаменитого цыганского хора, безумная страсть, оплаченная немалым выкупом, многими дарами. Теперь страсть поостыла, но связывали, хоть и тяготили, двое детей, сын и дочь. Незаконнорожденные.

Пушкин понял, поморщился, вспомнилось свое: тоже Ольга, Оля, Оленька — милое создание, утеха в его ссыльной деревенской жизни. Он отправил ее, беременную, в Болдино, отец выдал замуж за однодворца, она родила. Жив ли ребенок, он не знает. Забыл, как все забывают о случайных детях. Забудет и Войныч, расставшись со своей Ольгой... А цыганки хороши в степи, в шатрах, в Бессарабии. Поддался Войныч своему «преглупому сердцу», так он сам говорит.

Касаться этого предмета в разговоре Пушкин не хотел.

— Хорошо, — говоришь, выиграл на свечи. А проигрыши? Или выигрышей больше?

— Черт их знает, я не считаю. Есть деньги — кладу в секретную комоду, ключ у меня да у Петра Данилыча, моего дворецкого. Есть третий ключ, прошу, возьми его, тебе деньги нужны будут, а я твой должник. Бери.

Петр мой на редкость честен. На нем все домашние заботы. Нелегко бедному: деньги бывают случаем, кредитов нет. От поместьев моих что имею? Одни неприятности: закладные, проценты. Впрочем, у тебя то же, знаешь. То-то помещики, то-то хозяева!

— Да, одарил меня отец Кистеневым, вышел и я в помещики. Теперь одного желаю — отыграть эту ролью по

скорей. Не могу, не хочу, не умею вопить в крестьянское дело, собирать оброки, спорить со старостой, печалиться о неплательщиках, уличать управителя. За что мне сие?

— Не иначе, как за общий наш грех: рабство российское на нас держится.

— Ты говоришь, мы плохие хозяева. А хорошие? Видывал я таких, что хозяйствуют сами. Хотят из земли вытащить вдвое-втрое. Крестьяне у них с раннего до позднего на барщине и кормятся баладой на барском дворе, истинно каторжники! Печи в избах не топлены, стены заваливаются. Выходит, по-нашему, спустя рукава, не вникая, может, и лучше.

— И то плохо, и это хуже. А что, общее решение есть ли какое? Ты небось знаешь, были умные головы, думали о судьбе народа...

— Думать думали, да голов не сносили. А мы теперь что можем сделать? Вот мы с тобой — что? Мы те же рабы. Рабы самого рабства.

Нащокин слышал по голосу: Пушкин делается раздражителем.

— Что можем? Пожалуй, ничего. Разве одно: быть добрыми со своими людьми.

— Ах, перестань! Что значит «быть добрыми»? Прощать недоимки? Одному простишь — добрая половина откажется платить оброк. И как ты разберешься без старосты-плута, кто просит милости по бедности, а кто только из лени? Стараться на барины мужики не хотят, а работающая нехотя, работать разучиваются.

Пушкин становился все более желчен, Нащокин предложил:

— Ты сердисься, оставим сей предмет.

— Прости, брат Войныч, не столь сержусь, сколь мечтаюся. А как выложил на бумагу в прошлом году кистевневские свои уроки — картины села Горюхина, — будто облегчился. Не подпирает под вздох. Стыдно признать-

ся — мне легче, тем и утешился. Черствость ли, зрелость ли это?

Воспламенились изменить жизнь, рванулись, не вышло, и на что можно надеяться, не ведаю, — разве на разум внуков наших или правнуков. Не вечно же оставаться русскому народу в темной дикости?

Этим вопросом заключил Пушкин бесплодный разговор, ему неприятный. Были разговоры в иные времена, в юные годы, было в них движение мысли к действию, поиск пути, горячая жажда справедливости. Где, где теперь его собеседники — учителя, друзья? Кто жив, тот далеко, кто мертв — навсегда. Время надежд миновало, наступило время разочарований.

Друзья замолкли, усталые, ожидая, покуда остынет вскипевшая было желчь.

Тихо отворилась дверь, и в гостиную вошел старик в длинной белой рубахе с горящей свечой в руке. Узловатые пальцы сжимали подсвечник. Шаркая ногами, прошел через комнату, будто в полусне, и вышел в другие двери. В пламени свечи проплыло желтое лицо с хрящеватым носом, грязно-седые бакенбарды.

— Господи боже мой, — простонал Нащокин, — не привидение ли это? Поверь, не знаю, кто таков, откуда. Может, Лонгин Федорович знает...

— Лонгин?.. А, художник. Единственный из твоих гостей, с кем можно поговорить.

— Есипов не гость, он домочадец. У нас уговор: помогать с гостящими, меня не всегда застанешь дома, к тому ж их много. Частенько не знаю, что с ними делать.

— Нет-нет, ты угадал: старик — привидение. Даже не привидение, а сама смерть. Хочет напомнить — жизнь наша перевалила за половину. Да, очень похоже на смерть, даже могильным тленом повеяло, чуешь?

— Чур меня, чур, не пугай. А если смерть захотела сказаться, то мне, не тебе. Несет меня, вертит, что щепку в половодье. Кружение и суета!

Живу, как на мельнице или на городской кузне: шум, стук, приходят — уходят, точат лясы, буфонят, и я с ними, курят, пьют, едят, спят. Может, и старик этот за- ночевал да спросонок и заплутал. Вот твой миф и пре- образован в анекдот из жизни. Но кто он, старый хрыч, хоть убей не знаю!

Пушкин вскочил, рассмеялся, обнял Нащокина.

— Черт возьми, Войныч, мы еще молоды. Возьмем да и повернем жизнь как захочется, а? Покупаю дом в Савкине, близ Михайловского. Уже с хозяевами пере- говорено через Прасковью Александровну, тригорскую соседку. В мае жена родит сына, да-да, не спорь — сына, летом переберемся в деревню, а там и тебя выкуплю, бросишь клуб, карты, выдашь замуж свою Земфиру, пока не народила тебе дюжину цыганят, женим тебя на тихой псковской барышне. Заживем преславно! Согласен?

— Хорошо бы. Да не выкупить тебе меня, — Нащо- кин вздохнул, — дорого стою — тысяч восемьдесят на мне. Нет, надобно сначала мельницу ставить в Тюфелях. Вот запустим жернова, зачнут они зерно молоть да нам денежки выбрасывать. Иль ты передумал?

Мельница — проект Нащокина, он и участок притор- говывал близ Симонова монастыря на Москва-реке, у ге- нерала в отставке, да генерал заломил несусветно, надо поторговаться, — может, уступит. Пушкин обещал гене- ралу писать. Нашелся и верный немец, механик, мель- ничных дел мастер, брал на себя все потребное приоб- рести, доставить на место и соорудить.

Мечтали друзья — один о Савкине, другой о Тюфе- лях, меж тем денег не было ни у того ни у другого, а были долги — в опекунский совет, ростовщикам, знако- мым. Также и друг другу. Много долгов.

Свечи догорали, пошли коптить, пламя порыжело, спать захотелось, да и пора было — снег за окном забе- лел. Поднялись — разойтись по спальням.

— А я скажу тебе, Войныч, старик со свечой и есть



смерть. Не все ей ходить с косою, ослабившись, вот и явилась в самом простом обличье, всем знакомом...

— Далась тебе эта выдумка, Александр Сергеевич, ты, видно, хочешь, чтобы я нынче не уснул? Без того хватает печалей.

Нащокин зажег новую свечу в легком подсвечнике — проводить Пушкина в свою, уступленную гостю, спальную. На пороге комнаты остановился и, пожелав другу спокойной ночи, перекрестил вослед. Все-то тревожился он за Пушкина, а что тревожило, сам не знал.

— Постой, возьми свечу. Дай зажгу в канделябрах.

Нащокин зашел следом в комнату. Пушкин стоял над кроватью, сотрясаясь в беззвучном смехе: на его постели лежал давешний старик, всхрапывая и причмокивая во сне.

## ИЗ ЖУРНАЛА

Обсуждали вчерашнее происшествие. Как оказался чужой в спальне г-на Пушкина? Павел Воинович сказал, что старика этого не знает и думал, что он мой гость. «Помилуйте, Павел Воинович, как бы я осмелился гостей звать, будучи сам гостем в вашем доме?» Был я огорчен таковым предположением моего невежества. Петр Данилыч оправдывался тем, что вызнать у старика, кто он таков и откуда, невозможно по причине полной его глухоты, а стелили ему уже какую ночь в диванной, и как он мог заблудиться, имея возле урыльник, за то дворецкий в ответе быть не может. Петр Данилыч разволновался и осерчал: «Принимаете без разбору, и чужой забредет, коли спросу нет. Вон Кривой живет, сказался соседом барина, брата вашего, письма-то не привез, а по дому бродит, ищет чего-то. Шишиге лесной он сосед!»

Тут появился Александр Сергеевич и как начал представлять вчерашнее происшествие в лицах с разными

фарсами, так мы полегли со смеху, и уж сердиться никто не мог.

А Павел Воиных сказал, отирая слезы: «Ладно уж, пусть живет старый, пока сам не уйдет, только бы не простыл ночью, не дай бог помрет, ты, Петр Данилыч, поищи ему халат из моих».

*Декабря 16-го дня*

Прощальный вечер г-ну Пушкину с цыганским пением и плясками. Множество народу, теснота, шум невообразимые. Ужин от английского повара Власа с клубными же официантами. Пито-едено немало, — Павел Воиных в выигрыше. Нынче до обеда не разобрались, кто где уснул. Отъезд Александра Сергеича, однако, откладывается. По каким причинам, того не знаю.

Сегодня поутру застал Кривого в гардеробной за дурным делом: обшаривал бекеш г-на Пушкина. Меня он заметил не сразу, и я мог наблюдать его старания. Ничуть не смутясь, изобразил удивленность: «Ах, это не мой бекеш!» Сказать Павлу Воиныху о сем деле. Впрочем, ответ наперед известен: «Об одном глазе можно и ошибиться».

Павла Воиныха вечером нет, а г-н Пушкин дома. У него был молодой сочинитель, поднес книгу про любовь Теодора с Розалией, но славный наш поэт по уходе гостя, не раскрыв книги, сунул ее под диван в гостиной. Повременив несколько, осмелился я спросить, могу ли взять сей роман для прочтения? На что Александр Сергеич отвечал: «Пожалуйста, ежели не боитесь желудочного спазма».

Предложил Александру Сергеичу взглянуть на пор-

треты хозяина дома, мною сделанные: два карандашных наброска и акварельный, законченный. Г-н Нащокин мне не позировал, но, увидев его сидящим с книгой или за разговором с кем-либо, я, испросив разрешения, рисовал с полчаса, не более, боясь докучать.

Г-н Пушкин не позволил мне, хромоногому, сходить за портретами, а поднялся со мной. Не без робости я подал ему свои увражи. Он рассматривал долго и, возвращая листы, вздохнул. «Разве не похож?» — спросил я. «Похож, — отвечал он, — только Войныч у вас кругл и прост, как яблоко». И, схватив карандаш, на обороте моего рисунка быстрыми штрихами набросал профиль г-на Нащокина: взгляд внимателен, как бы вслушиваясь, а вместе задумчив или печален, рука с трубкой застыла, лицо мягкое, ласковое, в складке губ чуть просится улыбка.

«Вот каков Павел Войныч», — сказал поэт с гордостью, и я понял: гордится не рисовальным своим искусством, а другом. Показалось, он хочет продолжить речь, но оборвал, не закончив.

Хоть неудача огорчила, а резкость суждения г-на Пушкина даже обидела, я все забыл, вознагражденный втрое: видел рисовальщика необыкновенной смелости, уловил горячее чувство в словах о Павле Войныче и получил на память прекрасный портрет его, притом из каких рук! Жалел только, что не осмелился попросить подписи.

Беседовали с Петром Данилычем. Очень любит своего барина, сокрушается расстроенными его делами. Со многими вздыханиями говорил мне, как Павел Войныч и г-н Пушкин ищут выхода из долговых сетей, подобно как птицы из силков. Сидят за полночь, нижут цифры, как бусы: налево, что один должен другому, направо — обратное этому. Дворецкий руками разводит: «Никак не пойму ихнего расчёту. Погоди, говорит барин,

выиграю, отдам тебе долг — десять тысяч, тогда ты отдашь мне три тысячи, что ты должен. Только и слышно: «Ты мне дашь, я тебе дам». А денег-то ни у того, ни у другого — вот беда».

Опять же из разговору с дворецким. Огорчается Петр Данилыч затеей с мельницей: что, говорит, удумали — стыд и срам, господское ли дело зерно молотить? До чего жизнь довела, как купчишки какие, хотят мельницу ставить. Утешаю его несостоятельностью прожектов, непрактичностью прожектеров, на что старый слуга отвечает горестно: «А с чего жить будут? Доход ненадежный, что с карт, что с книжек».

Проснулся ночью от стука, лежу и думаю, приснилось мне или в самом деле что упало, а может, кто упал. Растревожился, заснуть не могу, вышел — на лестнице темно, а внизу свет. Не синий — внизу у нас на ночь свечу ставят в синем пузыре, — а другой, ясный, и, похоже, лучом идет из неприкрытой двери.

Неловко было, но все ж спустился, стараясь шагать тихо хромой ногой. Из кабинета свет, и в щель видно: стоит г-н Сулицев возле маленького столика, на нем перевернутая шкатулка, г-на Пушкина подарок, а Кривой, просунув поварской нож лезвием в щель, тщится споднизу открыть секретный ящичек.

Не успел я рот раскрыть, вопрошая «Что вы делаете?», как он мне с великой досадой и нахально так: «Я шкатулку починая, а вам что здесь надобно?»

Тут он шкатулку повернул, поставил, как стояла, нож спрятал — думается, в рукав сунул — и вдруг свечу, им принесенную в шандале, задул. Остались мы почти в полном мраке, не считая синего мерцания с лестницы, и он загудел загробным голосом прямо мне в ухо: «Говори, волшебствует ли хозяин над картами? накалывает, подбирает именную колоду? мечет баламутом? От-

вечай!» И уж руку протянул — схватить меня за халат, да тут нож у него из рукава выскользнул, упал со стуком, а лакей, что спит на сундуке под дверью в прихожую, дожидая хозяина, как крикнет спросонск: «Кто там?!» Сулицев, ругнувшись скверно, выскользнул из кабинета и был таков, а передо мной очутился лакей и сказал с укором: «Что вы, батюшка, в темноте бродите? или забыли чего, так надобно огня принести».

Я ничего не ответил, будучи столь озадачен ночной встречей, что едва дошел до постели, да так и пролежал, не смыкая глаз, раздумывая, что означает «мечет баламутом» и другие подобные реченья? Однако понимал: означают они какую-то скверность, а кривой господин — мошенник и негодяй. Старался об одном: не позабыть до утра слышанного, дабы завтра же побудить Павла Воиныча принять меры против гнусного Кривого.

Севодни после обеда Павел Воиныч рассказал дело одного небогатого дворянина по фамилии Островский, коего судьба произвела в разбойники. Богатый сосед-помещик через судей-лихоимцев отсудил у него имение. Люди Островского убили заседателя, приехавшего на место объявить решение, а засим под началом своего барина составили разбойничью шайку. Павел Воиныч самолично видел Островского осужденным на каторгу — в остроге.

История сия вызвала споры. Г-н Пушкин говорил, что Островский — смелый человек, не стерпевший несправедливости, и тем уже готовый герой для поэмы или романа и что он желает ему бежать с каторги, но не предаваться мелкому разбою, а свершить нечто решительное противу беззакония.

Павел Воиныч возражал, что Островский героем не является, как сам, поддавшись чувству мести, грабил и убивал, следственно, творил беззаконие, а таковые дей-

ства укреплению законности и торжеству справедливости общей способствовать не могут.

Г-н Пушкин спросил: Лонгин Федорович, а вы чью принимаете сторону? Я отвечал не сразу, несколько растерявшись: «Будучи по натуре человеком тихим, хотел бы, чтоб споры решались без оружия и убийства». Не знаю, хотел ли Александр Сергеевич мне возражать, но, увидев смущение мое перед ним, ничего не сказал, а Павел Войныч предложил знаменитому нашему сочинителю преобразовать сию историю в роман или рассказ, или во что сочтет нужным.

«А почему бы тебе, Войныч, не записать самому, так точно, как ты нам рассказывал?» — предложил г-н Пушкин.

Правда, Павел Войныч рассказывает столь занимательно, что заслушаться можно, и все видишь перед собой, будто живые картины смотришь. Я тоже стал его уговаривать, почему бы не попытаться? Но он руками на нас замахал: и некогда, и негде, и не умеет, и все повторял любимое словцо: дескать, получится одна «какография».

Нынче за стариком глухим пришли родственники. Вот ведь история! Заблудился старый, вышел из дому сына своего, что близ церкви Неопалимой Куписы, неделю назад, да не сразу хватились, как жил он то у сына, коллежского асессора г-на Караваева, то в семье дочери, г-жи Рыжевской, в приходе Успенья-на-Могильцах. Караваевскому слуге приказано было старого барина на извозчике проводить, но старик не захотел извозчика, велел деньги отдать ему в руки и про то не сказывать, а слуга, по нерадению, не дойдя немного до места, старика оставил. Рыжевский лакей, что приезжал со стариковым зятем, говорил Петру Данилычу: искали три дни, спрашивая всяк встречного, а лавочник один говорит: видно, место здесь нечистое — недавно один пропал, искали, теперь другой исчезнул.

Не иначе, вспомнил, как г-н Пушкин Павла Войныча разыскивал.

### НОЧЬЮ, ПРИ СВЕЧАХ

Нащокин вернулся рано, в час пополуночи, обрадовался, что Пушкин не ложился, ждал. Видно, писал письма или что другое, Нащокин не спрашивал. Велел принести халат, подать вина, холодной телятины и что там осталось от ужина. Снимая сертук, вынул из одного кармана пачку ассигнаций, из другого — горсть золотых.

— На свечи хватит? — пошутил Пушкин, вспоминая прошлый разговор.

— Не только на свечи, на сережки надо — с изумрудами. Обещал. Милый мой, тут три тысячи, бери, коли нужно, я твой должник.

— Убери в секретную комоду, в шкатулку. По ночам в твоём доме бродят тени.

Вошел слуга с халатом, доложил — вина нет, гости выпили, телятины нет, съедена, осталась севрюжина под хреном, нести ли? Нащокин досадливо поморщился: севрюжина шла под вино, а так? Он был возбужден, голоден, счастлив посидеть вдвоем с Пушкиным, выпить бокал-другой, перекусить вместе...

Пушкин сказал: есть не хочет, ужинали поздно, обойдемся без вина, спать не ложился в надежде, дождался и рад.

Нащокин велел подать чаю, добавить свечей.

— У меня праздник — ты со мной!

Пушкин улыбался молча. Он любил Нащокина, однако восторженность Войныча, похожая порой на девичью влюбленность, чуть сместила.

— Видел понче твоего Огня, оплетал его — скостить тышчонки две-три. Не поддается, но погоди, я его ломаю.

Старый игрок, заправский картежник Огонь-Догановский у многих вызывал сомнение. Не то чтоб Огонь играл заведомо наверняка, но все ж подозрение было. А недавно случилось, что Догановскому наотрез отказался уплатить проигрыш, четыре тысячи, князь Енгальчев. Не сказал ни одного оскорбительного слова, а просто объявил: «Милостивый государь, эти деньги я вам платить не намерен». Совет клуба постановил исключить из числа членов г-на М., чьим гостем был Енгальчев, но никакого беспокойства Огню от совета не последовало. Однако многие удивлялись, как он не потребовал удовлетворения после столь оскорбительного намека. За спиной у Огня поднялись разговоры, какие поднимались не раз: проигрывает крайне редко, любит втягивать в игру новых людей, особенно провинциалов, умело разгорячает понтирующего, держит крупный банк.

— Ну, а ты сам как думаешь — передергивает Огонь?

Нацокин задумался, потом ответил с неохотой:

— Не знаю. Он большой в картах искусник. У него руки, о которых говорят — «пальцы карту видят». Думаю, в тасовке он фокусник и на вольт способен, однако приготавливать именные колоды — этого быть не может. Меченые карты ввести в игру в клубе невозможно, там играют нераспечатанными, главная игра идет у него дома, однако общество его вполне прилично. Нет, не должно и говорить о таком.

— Значит, не мошенник, но искусник близко к мошеннику. Гляди, Войныч, станешь искусником, а там тебя и прибьют — не палкой, так словом.

— Не пророчь мне позора и бед.

— Кто знает тебя, как я, тот доверит в твои руки все имение, но старушка Москва охоча до пересудов и сплетен.

— Кстати, вот одна из последних: «Новый поэт явился, талант, куда там Пушкину. Некий Евгений Онегин, говорят, из Одессы».



Пушкин рассмеялся — и весело и лестно. Схитрил Войныч, ушел от разговора о тайнах карточной игры. Нет, вернулся, стал вспоминать анекдоты из жизни игроков.

— Многие, кто начинает играть, мечтают о чуде — верной карте, предсказанной в откровении от духов, наяву или во сне. А есть и другие, не мечтатели, можно сказать, деятели, те полагаются на опыт и упражнение. Среди игроков немало ходит рассказней, ты бы сказал — легендов.

— Расскажи что-нибудь.

— Вот к примеру: один поручик, сын небогатой вдовы-помещицы, увлекся, играя на мелок, и проиграл все имение. Пришел домой ночью в печали и в тоске, решает застрелиться. Как вдруг входит покойный отец, в саване, со свечой в руках, и говорит: «Не делай, что удумал, ты не только себя, но и мать убьешь, пойдя завтра, поставь на такую-то карту...»

— На какую же? Ты назови...

— Да не все равно, забыл я. Поставь, говорит, на эту карту и отыграешься. А теперь клянись более карт в руки не брать.

Сын сделал по совету покойника и верно — отыгрался.

— А потом?

— Прошел год или больше, он свой обет позабыл и сел за карточный стол. Только началась игра, входит слуга и говорит преступившему клятву: «Вас спрашивает важный господин». Игрок извинился, вышел в прихожую и более не вернулся. Пропал, так его и не нашли.

— Да, страшная история. А еще что знаешь?

— А вот и в другом роде. Молодой человек, сын помещика, повез в губернский город деньги в уплату по закладной, попал в гостинице к шулерам, обыграли до копейки. Вернулся домой, покаялся и обещал отцу деньги вернуть. Отец был великодушен, но просил об одном — сесть за науки, дабы вступить в университет.

Сын весь день проводил в своих покоях за книгами и упражнением. Однако наука его была иною, чем думал отец: он изучал приемы игры, игрецкие обманы и мошенства, описанные в книгах.

— А такие книги есть на самом деле?

— Представь, имеются: «Жизнь игрока», «Двести верных способов выиграть в карты» и подобные. Изучил наш молодец книги и, постоянно упражняясь, достиг большого искусства. Но вместе стал странен: говорит сам с собой, с людьми мрачен. Оказалось — неспроста.

Заметил он, что бубновая дама ему улыбается, то тихонько головкой кивнет, то пальчиком погрозит, и понял: она ему советует, как играть. Он ей имя дал — Гликерия, что означает «сладкая».

Вскорости поехал он в город, испытать свои силы, и вернулся с большим выигрышем. Отцу денег не отдал, чтоб сохранить тайность, а в город стал наезжать, играя все крупнее и смелее. Гликерия у него была в кармане сертука, всегда под рукой.

Однажды встретил молодой игрок шулеров, что его обыграли, и решил испытать на них свои знания. Как началась игра, он их секреты и раскрыл. Увидев столь большого искусника, уговорили они его войти в их компанию, ехать вместе на ярманку в Нижвий Новгород.

— Постой, постой, кажется, я эту историю слышал. Среди шулеров был один кривой...

— Верно, как говорится, «бог шельму мегит» — старший из них был кривой.

Пушкин вскочил.

— Кривой! Вот она и разгадка: твой-то Кривой — не шулер ли?

— Какой «мой Кривой»? А, господин Сулищев или...забыл, как его... Так он же от брата, сосед его...

— Сосед, сосед. А зачем он по дому шарит? И в кабинете... Лонгин Федорович сказывал тебе о ночной их встрече?

— Да-да, сказывал. Сулицев картами интересуется, моей игрой. Может, брат просил его познакомиться.

— Так он же шпионит за тобой. Выгони его тотчас! Чего ты ждешь?

— Ждѹ, когда закончит проверку. Конечно, он выверт, оборотень и подлаз. Не знаю, от брата или от карточных игроков подослан.

Нацокин говорил о шпионе спокойно, как о деле самом обычном.

— А может, от шайки шулеров из Нижнего? — посмеялся Пушкин.

— Про шулеров — старый анекдот. Вернее всего, «мой Кривой», как ты говоришь, от игроков.

Пушкин опять вспыхнул:

— Хочешь, я его тотчас вытащу из постели и в одном исподнем вышвырну в сугроб?

— Боже сохрани! Пусть закончит свое дело — убедится, что шарит напрасно. Скандалом все можно испортить.

— Странный ты человек, Войныч. Я бы его застрелил, а ты...

Пушкин помолчал, потом заговорил, торопясь:

— Слушай, а может, соглядатай не твоя, а моя принадлежность? Может, ангел хранитель мой простер свои крыла до Москвы? Повелел пещися обо мне? Я говорю о сиятельнейшем графе Бенкендорфе... А если Кривой мой, то решено — вышвыриваю в окно!

И, вскочив, Пушкин направился к двери.

— Остановись, безумный! Может, ты прав, но тогда Кривой опасен. Не губи себя и меня.

Пушкин пожал плечами, прошелся по комнате, остывая.

— Так чем кончился анекдот с Гликерией? — спросил он, вздохнув.

— А тем, что она приревновала своего избранника. Он отправился к девкам, а Гликерию из кармана вынуть

позабыл. Бубновая краля начала мстить ложными под-сказками. Любимец ее проигрался в пух и прах, тащился домой пешком, Христовым именем.

— Войныч, умоляю тебя — сядь и пиши!

— Оставь, друг мой. Мы уже говорили. У каждого своя судьба. Повертывать жизнь поздно. Об одном моллю бога, чтобы встретить скромную девушку и согласно прожить до конца дней, в покое, в семейных радостях. Устал, старею, видно. Вот чего хочу. Впрочем, и это — немало.

А брата моего не брани, Василия, хоть бы и от него шпион. Брат в страшной мизерии. Пьет запойно, руки дрожат, весь посинелый. Жена в город его отправила, в присутствие, а он служить не способен. Она в имении правит и царствует, а с ней ее аманты — приказчик да камердинер. Стерва и блудня страшнейшая. Я тебе говорил — в деньгах мне брат отказал, хоть имеет годовых восемьдесят тысяч. Небось тоже приговор супружницын. Может, и Сулицев ее подарочек. Уж не о себе печалюсь, о брате — пропал человек.

— Грустно слышать, Войныч. Жизнь повертывать поздно? Тебе только исполнилось тридцать. Жалуешься на суету, шум, говоришь: «Живу, как на мельнице или на кузне», — кузня, мельница — все проходное место, кругом чужие люди, лишние разговоры. Нет, надо тебе набраться духу и поломать свою кузню. Помнишь, как ты в реку прыгнул, плавать не умеючи. И переплыл, вышел на другом берегу. Выпьем за другой берег, Войныч! Ах, да — вина нет.

— Ты в меня веришь, спасибо, брат. Очень мне помогает. С тобой я держусь поверху, без тебя ко дну тянет. Только вряд ли сил наберусь на большие перемены. А ты сам, ты смог бы все изменить в жизни? Я не о женитьбе говорю, нет. Совсем повернуть, жить как хочется, а не как люди велят? Пожалуй, ты сможешь. В тебе силы большие. Будь самим собой, это главное. Ты богом отмечен, у тебя великое предназначение, и тем уже защищен.

— От дара божьего отречься не стану, и все ж я обыкновенный человек, покоряюсь слабостям своим, жизни покоряюсь, а значит, сам себя предаю. Не поднимай меня слишком высоко, страшно.

А чего бы хотел сейчас для себя — это тишины. Живя в деревне, не ценил, а теперь скучаю. Тишина, знаешь, что такое тишина...

Наверху что-то грохнуло, стукнуло тяжело об пол, раздался топот, женский визг, крики:

— Павел Воинович, батюшка, помогите, сюда!

Пушкин в три маха взлетел по лестнице, за ним взбежал Нащокин.

В спальней, при свете единственной свечи, стоящей на комод в шандале, вбежавшим открылась картина: на полу лежал, стоная, Петр Данилович, возле на коленях горничная девушка. Дворецкий обеими руками крепко охватил правую ногу Сулицева, тот ловчился ударить левой старого слугу по голове, а девушка, плача, пыталась поймать дрыгающую ногу. Руки Сулицева были защемлены в ящике комода, и Есипов из последних сил, навалившись, удерживал вора в кашкане.

Пушкин схватил Кривого за локти, стиснув их с крепостью железа.

Нащокин поднял Петра Данилыча, на лбу которого вздувалась багровая шишка.

— Милостивый государь, вы ответите за свои поступки перед полицией, перед полицмейстером, — грозно сказал Пушкин, — а сейчас объясните свое поведение хозяину дома.

И, перехватив руки, Пушкин повернул Сулицева лицом к Павлу Воиновичу.

— Отпустите, вы сломали мне руку. — Сулицев смотрел зло, без всякого смущенья.

Заговорил Петр Данилович. Прерывающимся голосом рассказал он, как было дело. Сначала услышал шаги, «сторожкие», сказал дворецкий, потом царапанье по де-

реву, будто железом кто ковырял, потом железо сорвалось, кто-то чертыхнулся. Петр Данилович пошел наверх, увидел свет в спальней, дверь только прикрыта, там кто-то возился. Дворецкий знал: барин и Александр Сергеевич в кабинете, поэтому вошел не постучав и увидел Сулищева, открывающего отвертвым ключом ящик в комод.

Петр Данилович, вскрикнув, схватил вора за руку, но тот сшиб его ногой и, бросив на пол, прошипел: «Молчи, холуй!» В этот миг появился Лонгин Федорович, а следом девушка прибежала от Ольги, узнать, что случилось.

— Ну, что скажете? — спросил Нащокин у пойманного мошенника.

Тот молчал.

— Говори же! — Пушкин встряхнул Сулищева.

— Отпустите руки, совсем вывернули... — огрызнулся тот.

— Александр Сергеевич, отпусти его, теперь не убежит.

— Все, что могу сообщить, скажу только господину Нащокину, — произнес Сулищев громко и, повернувшись к хозяину дома, прошипел: — Имею секретную бумагу...

Нащокин указал Сулищеву на лестницу — спускайтесь.

— А вы, господа, будьте добры, обождите; Лонгин Федорович, сделайте примочку Данилычу.

Пушкин, слегка поотстав, пошел следом. Из кабинета глухо доносились голоса. Через минуту-две открылась дверь, и Нащокин позвал лакея: «Проводи господина Сулищева из дому».

— Наверху остался мой портефейль с важными бумагами, отдайте!

— Сейчас принесем-с, — ответил сверху голос Петра Данилыча.

— Пожалуйте бекешу и калошки-с. — Лакей подал Сулищеву одежду.

Пушкин с Нащокиным ушли в кабинет, не дожидаясь выдворения шпиона.

— Так что он тебе сказал, этот мошенник?

— Говорит, у него секретное предписание от генерала-лейтенанта Волкова о наблюдении за мной и моим домом.

— Ты требовал бумагу?

— Не дает, говорит, секретную не полагается.

— Врет небось. Надо бы проверить, не украл ли чего.

— Ничего не взядено, Алексан Сергеич, мы его баул, извините, перетряхнули, окромя смены грязного белья да обмылка с мочалкой, ничего в нем не имеется, — сказал вошедший Петр Данилович. Одной рукой он прижимал мокрое полотенце к голове, в другой держал бутылку.

— Шпион из бани явился — чистенький, — засмеялся Пушкин.

— Изгадил нашу беседу, мерзавец.

— А я вам бутылку лафиту принес из припрятанного, не угодно ли отметить — со счастливым избавлением?

— Ах, Петр Данилович, друг верный, хорошо догадался, и Лонгина Федоровича позвать надо.

Скромный Есипов уже стоял тихонько у дверей и, услышав слова Нащокина, вошел, протягивая ключик от секретного комода. Проверяли с дворецким, не украл ли Сулицев деньги.

Петр Данилыч разлил вино по бокалам, поднесли и ему, он отказался, чокнулись втроем.

— Пусть вся нечисть провалится, — пожелал Пушкин, — и первыми — соглядатаи.

Выпили дружно. Есипов спросил, не скажет ли Нащокин, что шпион хотел узнать про карты?

— Добивался узнать, чисто ли играю. Говорит, частное порученье, дескать, работает также от себя, по частным делам.

— От кого ж порученье?

— Не может сказать, слово дал держать тайну.

— Честный, сука! Нет, воля твоя, его надо было прибить и выбросить в снег. Прямо со второго этажа, из окна. Зря ты не дал с ним расправиться.

Нащокин наполнил бокалы снова.

— Аминь! Забудем,— он стукнул бутылкой об стол,— забудем, заьем, заговорим. Вот я расскажу вам занятную историю, как я в молодые лета служил горничной девушкой у одной красавицы, которую охраняли две тетки...

Петр Данилович ушел к себе в комнату. Голова болела, не спалось. Он еще долго слышал из кабинета голоса и смех. Тихий, похожий на покашливанье — Есипова, звонкий, детский — Нащокина и раскатистый, волнами — Пушкина.

А в доме уже просыпались: дворник таскал вязанками дрова, черная кухарка растапливала печь, белая ставила тесто на булки к завтраку.

## ИЗ ЖУРНАЛА

*Декабря двадцать седьмого*

Рождество Христово на исходе, в покоях чисто и тихо. Павел Воиныч домовничает, но невесел. Сегодня долго писал у себя в кабинете. Петр Данилович сказал, что письма отправляли с почтой в догон Александру Сергеевичу — он три дни как уехал. Видно, скучает Воиныч. Гости поунылись, а многие отбыли для встречи Рождества по домам и весям. Слава богу! у нас тишина, только ребеночек плачет — неможется. Ольга-цыганка — плохая мать. Как оправилась после родов, потянуло ее из дома: то в хор — к подругам, к матери, то еще куда-то. Я не к тому, чтобы знать ее поездки, девочку жалко. Отдан у цыганки один ребенок, с кем-то прижитой, на воспитание, да тут двое. А семья нет и не будет, дети, коли выживут, будут расти вразброс.



Павел Воиныч как встанет, первый его вопрос к Петру Данилычу: нет ли почты? Ждет письма из Петербурга, должно думать, от г-на Пушкина. Полмесяца ждал, дождался — вчера пришло, да, видно, не такое, как мечталось. Павел Воиныч печален, но вместе и деятелен: ездит по Москве, дела улаживает, видно, хлопочет по комиссиям друга. Давеча был у него важный господин, и разговор, как сказывал Петр Данилыч, все о деньгах, векселях да закладных. Денег нет — в проигрыше.

Воспоминаю дни гощения г-на Пушкина и не знаю, о ком больше думаю: о знаменитом ли поэте нашем или о Павле Воиныче, коего наблюдал в те дни истинно счастливым. Редкостная дружеская любовь! Но меня беспокоит мысль — не с одной ли стороны она? Такого сияния в глазах, во всем лице, радости при каждом слове я не видел от другого, и это меня, признаюсь, огорчает.

Мне думается, Павел Воиныч также человек необычайный, только талант его не в поэзии. Может, в истинном человеколюбии? Впрочем, судить, бывает ли таковой талант, не берусь. А к Павлу Воинычу я пристрастен, сознаю сие. Полюбил его всей душой. Да и как можно, узнав его, не полюбить?

*Февраль 1832 года*

Масленица, дым коромыслом! Всякий день блины с утра до вечера, завтрак переходит в обед, обед — в ужин. Народу полный дом — едят, пьют, ночуют. От блинов становятся тяжелы, домой не добраться.

Вечером в широкий четверг — цыгане, песни, пляски. Ольга вновь зазывно трясет плечьями и грудями, у Павла Воиныча блестят на нее глаза, подарил дорогую шаль. Он в выигрыше.

Вчера жгли жженку, предпринятель сего братец Жорж,  
гусар. Катались на тройках с цыганами — пенье, бубны.  
Распевали свадебную, Павла Воинича любимую:

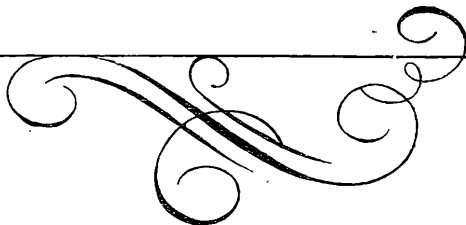
Двое саней с подрезами,  
Третьи писаные.  
Как во первых санях  
Едет князь молодой,  
Во вторых санях  
Его тысяцкий,  
А во третьих во санях  
Свахи с дружками.  
Подъезжали поезжане  
Ко цареву кабаку...

Разгульная масленица! Катанье вперед, от лошадей пар, крик, пенье, уханье, кто во что горазд. Промчались мимо Кремля, объехали Разгуляй-поле.

А дома опять блины, пляски, гитара, бубен, топ да хлоп — ночь напролет.

Как говорит Павел Воинич: «Зашумела наша мельница».

**ЦВЕТ  
ТЕМНОГО  
МЕДУ**



Что, женка? Скучно тебе?  
Мне тоска без тебя...

**ОБРЫВКИ ЧЕРНОГО ПИСЬМА**

**Идалия Полетика**

...ую просьбу выполнить труднее.

Разговоры о происшествии с Пушкиным почти затихли, а нового занятного ничего нет. Вдова его с детьми и сестрою отправилась в деревню, выполняя, как говорят, волю покойного. Одни ее осуждают, считая виновницей дуэли, другие жалеют. Я принадлежу к последним. Ты знаешь, как я не любила месть, но с мадам мы были в самых милых отношениях, пока они не перешли в неприязнь, впрочем обоюдную. Она слишком мнила о своей красоте, не понимая, что поклонение, воздаваемое красавицам, не так ценно, как истинное наслаждение души, получаемое от женщин менее красивых, но более богатых духовно.

Тут я стала думать, красавица ли в самом деле Пушкина — поэтша? Высокий рост, прямой носик и осиная талия еще не есть полное совершенство. Я слышала, что она очень подурнела от пережитого. У нее были страшные конвульсии, так что затылок едва не касался пят.

Не знаю, правда ли это, но такие крайности в изъяснении чувств вызывают у меня отвращение, как всякая несдержанность. Вероятно, и тут показало себя отсутствие прирожденного аристократизма.

...сходство сестер было предметом разговоров и даже споров. Некоторые считали, что Александрина похожа на Натали только в профиль и резко отлична en face, другие находили, что она похожа так, как бывает похожа карикатура на оригинал. Я сказала: «Сходство столь велико, что приходится только удивляться, как monsieur Пушкин не путает их между собой». Мое mot было настолько удачно, что многие стали повторять, и оно обошло все гостиные Петербурга.

...когда мы были близки, она конфиденстно говорила мне, что не имеет тайн от мужа и ничего от него никогда скрывать не будет. «Даже измену?» — спросила я. Она получила вид совершенно испуганный, и я поняла, что она простушка, простая провинциалка, случайно попавшая в высший петербургский круг.

...кают жалко перед красотой и как бы теряют волю. И женщины тоже, не только мужчины. Тайственная власть красавых дает им значительные преимущества в жизни. Вот тому пример.

Мы с Пушкиной встретились в начале зимы у m-me Sichler, обе имели одну цель: посмотреть материи, привезенные из Франции, и выбрать для туалета, достойного предстоящих праздников. Старшая мастерица, мадам Со-нье, усадила нас в кресла и начала показывать шелка, бродерн и блонды, с которыми мода, кажется, никогда не пожелает проститься. Но как одна мастерица не могла упрямиться с двумя дамами, то призвала помощницу, ма-

демуазель Полетт, и незаметным образом я оказалась в руках помощницы, а сама она стала услуживать Пушкиной. И мадам Сонье не устояла перед осиной талией! А может, ее пленил и высокий рост, при котором матери на платье требуется больше. И тут у нас случилось недоразумение, и победительницей из него вышла не более умная, а более красивая.

Я показала своей мадемуазель на шелк цвета темного меду, но одновременно и N. пожелала поглядеть атлас *miel foncé*. Обе модистки взялись за штуку шелка сразу. Моя, будучи младшей, готова была уступить старшей, но тут я вслух выразила свое недовольство, ибо моя просьба была заявлена несколько ранее. Старшая мастерица стала извиняться, однако шелк из рук не выпускала и отдавать не думала. Моя хоть и робела, но тоже держалась за штуку.

M-me Пушкина порозовела лицом и неохотно подтвердила мое право первенства. Я видела, что этот атлас произвел в ней род восторга, но почему я должна была уступать? Вероятно, все четверо представляли довольно забавную живую картину, ибо француженки продолжали держать материю вдвоем, наподобие карнатид, а мы молчали сердито, глядя на них. Положительно, соперничество из-за платья может быть в женщинах не менее остро, чем из-за мужчины!

Не знаю, долго ли продолжалась бы эта комедия, но тут выплыла из-за портьер сама m-me Sichler и со многими извинениями и заверениями сообщила удивленной публике — двум мастерицам и обеим дамам, что этот атлас *давно обещан мадам Пушкин*, ибо *miel foncé* есть ее прямой цвет, а к моим голубым глазам (*L'azur du ciel* \*) более подойдет цвет утренней зари или жемчужно-розовый (*Si charmant! Si magnifique! \*\**).

---

\* Цвет неба (*франц.*).

\*\* Так мило! Так великолепно! (*франц.*)

Меня возмутил этот наглый обман, прикрываемый лестью, но, к счастью, я увидела комичность всей сцены, в которой растерявшаяся от неожиданного поворота событий Н. имела самый глупый вид. Итак, я отступилась от «темного меда», отдала его сопернице.

Однако ее цвет не принес ей счастья. В этом платье я видела ее под роковой новый год, едва ли то не последний был ее выход. Должна признаться, платье было ей к лицу, но лицо казалось бледнее обычного, а талия еще тоньше. Не могу понять, как может иметь столь тонкую талию женщина, которая рождает каждый год, словно простолюдинка?

...какой-нибудь месяц, а мы почти забыли о тех, кто недавно был предметом горячего интереса в каждом собрании. Предстоящая масленица — катанье с гор и на тройках, костюмированные балы, ужины с блинами — занимают сейчас наши головы много больше.

Не в этом ли прелесть жизни — уметь отдаваться каждому дню, не утруждая себя воспоминаниями? И не шить ли мне к масленице платье *miel foncé* или теперь это уже не будет забавно?

## УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Наталья Николаевна

Она молилась, стоя на коленях посреди комнаты, глядя в окно на кресты близкой церкви.

— Царица преблагая, надежда моя, Богородице, прибежище сирых, немощных и скорбящих! Зрише беду мою, скорбь мою, услыши мя. Утоли печали мои, утиши боль мою...

И, закончив молитву, добавила свои особые слова:

— И малых детей моих, сирот, пожалей и защити...

Губы у Натальи Николаевны задрожали, она закрыла лицо руками, сквозь худые пальцы тотчас побежали,

закапали слезы. Тонкий стан ее стал клониться, как увядающий стебель, она могла сейчас упасть, так бывало, или зарыдать и с плачем звать мужа: «Пушкин, Пушкин!» — просить, чтоб пришел, утешил, или же прекратить, зачем так сделал, почему не пожалел детей своих.

Но стукнула дверь, вошла Александрина, подняла плачущую сестру, усадила в кресло, поднесла к лицу флакончик с ароматными солями.

— Ты слишком много молишься, Таша. И всякий раз слезы... Изнуряешь себя горем, исхудала. Да ты и не ешь совсем, как можно? Старайся отвлечься. Еще не ходила к детям? Кормилица присылала сказать: Ташенька ночью была беспокойна. Ты поди к ним сейчас, а потом погуляем в парке. Хочешь, велю заложить коляску, возьмем Машу и Сашу, покажем им парк. Тепло, весна совсем.

Наталья Николаевна знала, что весна. Старый парк, знакомый ей с детства, оживал с каждым днем. Сквозь слежавшиеся сухие листья пробивалась острая молодая травка, зацвели желтоватым пухом ветлы вокруг пруда, березы выбросили коричневые сережки-подвески, ветви деревьев тонко обвело светло-зеленым. Только липы и дубы не раскрыли еще налившиеся почки. И парк, недавно похожий на штриховую гравюру, на глазах превращался в нежную акварель.

А на кустах, на деревьях зачирикали, засвистели, затенькали птицы. Все радовалось — наливалось, тянулось, звенело, шумело — торопилось жить.

И от этого особенно ныла и болела душа.

Два месяца, как они в Полотняном Заводе, гончаровском имении. Отслужив на девятый день по смерти Пушкина панихиду, стали собираться и через десять дней выехали. Петербургский дом был поднят и свернут быстро, как бивак на позициях. Они бежали из столицы, недавно баловавшей ее, а теперь к ней враждебной. Вдова, четверо малых детей-погодков, сестра Александрина, нянь-

ки-мам и при детях, слуги, без которых не собраться, не добратся было, — санный поезд на скорых лошадях, а позади еще тихий обоз с вещами не столь ценными, не первой надобности — мебелью, книгами, посудой.

Перед смертью Пушкин наказал ей ехать в Полотняный и жить там два года. Выполняя волю мужа, Наталья Николаевна как будто еще принадлежала ему, казалось, он *оттуда* еще управляет их жизнью. Она всегда жалась к нему, когда бывало ей страшно. Теперь все страшное надо было перенести одной. А как — она не знала.

Наталья Николаевна вытерла слезы, накинула шарф поверх черного платья и пошла в детские комнаты. Александрина — в свои покои. В соседней комнате Александра Николаевна остановила пробегающую девочку с белой косицей, мотавшейся за спиной, похвалила ее: вовремя углядела за Натальей Николаевной, быстро прибежала и позвала.

## РАЗГОВОР В УГЛУ

### Фиска и Фомка

Девочку эту, Фиску, взяли в дом служить молодой барыне, приезжей из Петербургу, Наталье Николаевне. Брат ее — хозяин заводов — велел старой няньке Пахомовне найти девочку шуструю, но чтоб не баловала, и чистенькую. Пахомовна выбрала правнучку свою десяти годов, Фиску. Выискала и вычесала ее, вымыла с мылом и щелоком, нарядила в рубашку полотняную и сарафан крашениновый кубовый. Наказала Пахомовна Фиске бегать с оглядкою, чтоб кого не сшибить, пятками не стучать, говорить тихо, бранных слов не говорить вовсе, нос в доме не выбивать и господам кланяться.

А что делать надо, выказала ей барышня Александра Николаевна, а потом еще раз Пахомовна. Первое дело,



приставлена она к барыне за ней поглядывать: если та расплатится сильно, или, упаси боже, на пол упанет, или, спаси угодник Николай, биться начнет, — сей же час бечь за барышнею, а если ночь, то все равно будить и звать. Второе дело быть на посылках: что принести, кого позвать или что узнать. Окромя того, помогать горничной девушке, что та скажет. От барыниных покоев далеко не отлучаться, а спать на войлоке по соседству от спальни.

Фиска жалела барыню-печальницу. Была она красоты венаглядной, ангельской, аж сердце щемит, гляючи.

Фомка жил при господах четвертый год казачком: побежать, подать, принять. Он барина Александра Сергеевича знал. Три года назад барин приезжал в Полотняный Завод — летом. Жили они с барыней и двумя барчатами особо, в Красном доме. Фомке барин очень нравился — он был простой, говорил понятно, смеялся весело. Фомке сказали: барин стишки сочиняет и на бумагу пишет. Фомке думалось, что стишки эти должны быть тоже веселые, с приплясом.

Раз Фомка прибежал звать барина к обеду и увидел: лежит Александр Сергеевич на бильярдном столе, на зеленом сукне, — животом лежит и пишет на листках бумажных. Пишет не пером, а когтем — коготь у него был для этого выращен длиннющий! А ноги поднял, поднятыми ногами дрыгает и песню напевает. Песня веселая: хоть слов не разобрать было, но чутно — плясовая.

Фиска у бывалого Фомки много всего спрашивала — про барыню, барина покойного, про господ здешних. Один раз в темном углу спросила и про то, о чем Пахомовна строго-настрого говорить запретила.

— А правда, что барина Александра Сергеевича французы убили?

— Ну да, правда.

— На войне?

— Какая война? Война давно кончилась, дуреха. В Петербурге убили. Француз один убил.

— Так прямо днем при всех при людях из ружья стрелил?

— Зачем днем? Ночью, в темноте. Ночью они с французом тайком сошлись, и давай друг в друга пулять, кто в кого раньше попадет...

Фискины глаза стали круглыми, рот приоткрылся, и она выкрикнула:

— За-а-чем??!

## ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Александрина

Александра Николаевна жалела сестру, но еще больше жалела себя. Опять она в деревне, взаперти, в треклятом Полотняном Заводе, без всякой надежды на замужество, на подходящую партию. Вот-вот ей исполнится двадцать шесть. Поздравляю, мадемуазель, вы — старая дева! Как говорят в народе — перестарок. Ей нравилось о своем стародевстве высказываться грубо, насмешливо. Сравнивала себя с Ласточкой, своей верховой лошадью, к которой по ее распоряжению не подпускали жеребца. «Никаких свадеб!» — сказала она строго, уезжая в Петербург. Кстати, она узнала, что о запрете за два года забыли и Ласточка ожеребилась. «Ну что ж, теперь это справедливо», — усмехнулась Александрина. Теперь, когда она простилась с опостылевшим своим девством. Только — что толку? В отличие от Ласточки она ничего не приобрела. Поправ приличия, поступила она дерзко, смело, в надежде обрести покой плоти. Но обманулась девичья мысль, — покой не пришел, не считая кратковременного столбняка перед собственным бесстыдством.

Случай тот надо забыть, человека того, совсем ей чужого, — тоже. И была то всего одна мимолетность. Было и сплыло. Оставалась же Александрина все равно барышней Гончаровой, теперь единственной. Самая несчастливая из всех сестер. Может, и грешно сейчас считать-

ся судьбой с Натали, но Таша была замужем, была любима, у нее дети. Пройдет горе, будет еще у нее радость.

А Катрин? Вот уж кто выиграл на шалую карту! Вышла за любимца петербургских гостиных, дамского угодника, да еще по любви вышла — своей, не его, но по любви, — стала баронессой и живет во Франции. Кто мог подумать, кто этого ждал? Менее всех сама двадцативосьмилетняя Коко.

Только она одна — мадемуазель Александрин Гончарофф — в глазах всех старая дева. Да почему ж «в глазах»? Так и есть — старая дева. А виноваты в том маменька Наталья Ивановна и младшая сестра — Натали. Более всего — маменька.

Когда Александрине, средней по возрасту, исполнилось семнадцать, пришло ее время вступить в черед невест на московских балах. Старшая, Катрин, не оправдала надежд — два года кружения в залах — и ни одной победы! Но Александре мать даже не дала испробовать свои силы — тут же стала вывозить младшую. Ах, это было так несправедливо, так неразумно. Таша была еще совсем девочка, можно было и подождать. Сперва надо было устроить судьбу старших дочерей. Разве это не первый долг матери? Но маман была взбалмошна, ленива, черства. Отрываться от дома не любила. Выезды, сборы, которые так волнуют женщин и особенно молодых девиц, Наталья Ивановна не терпела. «Я люблю молиться», — оправдывала она свою привязанность к дому. Будто они ничего не знали про наливки и фаворитов! И маман, не дав Александре вкусить ни капли успеха, решила заодно брать на балы младшую дочь.

Наташа была робка, застенчива. Глаза косили испуганно, как у жеребенка, голова наклонена; веер держит без всякого значенья, слово вымолвить для нее мука.

А она, Александра, с первых шагов по навощенным полам пошла уверенно, смело. Взгляд не потупляла, на вопросы отвечала не медля, нити в разговоре не упуска-

ла. И о тайном языке вееров помнила, ее веер говорил: «Сердце мое свободно».

Танцевали они обе хорошо, но Александрина была в движениях смелей, определенной, кавалеру приходилось преодолевать ее скрытую волю. А Натали, всегда будто немного утомленная, в танцах была мягка, послушна.

Перебрав в уме еще раз давнишние воспоминания, Александра Николаевна снова удивляется, почему Натали приглашали наперебой, а ей все чаще приходилось сидеть или стоять возле маман и обмахивать веером пылавшее от досады лицо? А тут еще скаредность матери, вечные ее подсчеты и расчеты, боязнь потратиться на туфли, митени, на новое платье. Еще и несправедливость: убедившись, что успех Натали имеет больший, маман охотнее заботилась о ее нарядах. Александра узнала постыдное чувство приниженности, когда входишь в залу и думаешь, что все узнают в твоём платье подшитое платье Катрин с обновленной гирляндой.

Все эти маленькие переделки-подделки хорошо удавались Лизе-швее. «Платье совершенно как новое», — хвалила маман работу доморощенной мастерицы. Но Александрине всегда чудился острый взгляд пронизательных московских мамаш.

Могла ли она смириться, уступая успех сестре? Нет. Она стала завидовать. И с тех пор завидовала всегда. Любила и завидовала. Завидовала, хоть и любила. И понимала, что черное это чувство грешно, но поделать с собой ничего не могла.

Натали, повилика нежная, что без опоры и расти не смеет, едва появившись в свете, пробудила безмерную любовь. И в ком же? В прославленном поэте, которому гимны пела вся Москва.

Когда Пушкин сделал предложение, Наташа растерялась. Она не была готова к браку, к любви. Чувства еще дремали в ней. Она боялась. Все три сестры робели перед Пушкиным, перед его славой, перед молвой о его

жизни — бурных увлечениях, странностях, чудачествах. Они не знали стихов Пушкина, кроме тех, что были положены на музыку и пелись в гостиных — *Погасло дневное светило*, *Черная шаль*... Достали, нашли его книги — поэмы, стихотворения. И когда читали вслух, то делались влюблены все втроем, а когда закрывали книгу, чувства в них гасли. Непонятно им было, что приобретает в этом браке Натали, а вместе с нею они.

Девушки повторяли слышанные речи: «гордость России», «слава русского слова». Склоняли сестру к согласью — «гордость» и «слава» оказывали на них действие. А еще более хотелось перемены в жизни — исхода. Дом был непереносим, порою страшен. Мать деспотничала, бранилась, потихоньку пила и грешила, дворовые о том говорили почти не таясь. Отец временами выл, как зверь, метался в своем мезонине, страшный грохот и топот возвещали начало усмирения бедного больного, а стоны и жалостные крики позволяли догадываться, как грубы приставленные к нему слуги. Господи, спаси и помилуй! Только бы не слышать, не знать.

Маменька на предложение Пушкина согласия не давала. Хоть и первое на всех троих дочерей оно было. А может, именно поэтому: в обиде она была на весь свет, и тут почувствовала, что можно ей впасть в каприз, и этим как бы за обиду выместить.

Она приводила свои резоны. Пушкин не знатен, не богат. Неведомо — в милости или в опале. Царь его из ссылки вернул, но ходят слухи, что к нему приставлено наблюдение. Лучше подождать другой партии. Наташа — красавица, авось найдется кто поинтереснее. Надо помнить: денег на приданое нет, дед Афанасий Николаевич промотал состояние, дает на содержание всей семьи каких-то сорок тысяч в год, да и как дает — частями, по мелочам, душу выматывает.

Наташа между сестрами и матерью растерялась. Поркилась матери — ждать. Но ничего не было. Не было

поинтереснее. Никого не было. Танцевали, вздыхали, любовались, склонялись перед ее красотой. Но предложения никто не делал. Правда, и ей не нравился никто. И тайком все чаще думала она о Пушкине. А он уехал на Кавказ. Там было опасно, шла война. Зачем он уехал? Сестры говорили — он ищет смерти. Она стала за него бояться. Когда ж он вернулся через полгода, досадовала, что не встречает его на балах, узнавала о нем из разговоров и, услышав однажды, что будто собирается он в чужие края, долго плакала, прощаясь с ним навсегда.

Когда через год Пушкин повторил свое предложение, Натали радостно согласилась. Но как стал он ездить к ним женихом, начала сомневаться — казалось, что полюбить его она не сможет.

А маман, пристроив одну из дочерей, успокоилась, будто выдала всех троих.

А ведь Александра тоже была хороша! Была? Нет, она и сейчас хороша. Похожа на младшую сестру. Очень похожа — особенно в профиль. У Натали прямой нос, у нее тоже нос не маленький. У Натали глаза с легкой косинкой, что придает особый шарм. У Александрины глаза тоже косят. Шея, плечи, грудь — схожи. Шея, пожалуй, чуть покороче. Натали потоньше, особенно сейчас, Александрина — плотней и держится более твердо, уверенно.

Александра Николаевна подошла к туалетному столу — сделать ревизию своей внешности.

Боже мой, из овальной рамы зеркала на нее глядело лицо маман! Та же власть, неуступчивость, высокое мнение о себе, взгляд насквозь другого и брезгливое недовольство в губах. Запоздалое открытие: мадемуазель, вы похожи на мадам Гончарову! И Александра Николаевна вдруг показала язык той, в зеркале, — маман-немаман.

Достаточно, однако, рассуждений! Сейчас она пойдет за сестрой, за Машкой и Сашкой, и все вместе — на прогулку в парк.

Сердце вдруг защемило от жалости к детям, к сестре — добросердечной, неизменно к ней ласковой. Надо отвлекать ее как можно от грустных мыслей, от горя.

И как только Александра Николаевна перестала обдумывать свою неудавшуюся жизнь, лицо ее стало мягче, нежнее, и сходство с сестрой проступило явственней.

## В ДЕТСКИХ КОМНАТАХ

Маша, Саша, Гриша и Ташенька

Александра Николаевна вошла в детскую к старшим — Маше и Саше. Натяли тут не было. Дети сидели с немкой-бонной за столом, строили дом из чурочек.

— А где ваша мамá? — спросила Александрина, прикоснувшись разом к их головкам.

Девочка подняла толстогубое личико, взглянув на тетку, и ответила вопросом:

— Тетя Азя, а где наш папá?

Александрина сделала строгое лицо. Маше, старшей — вот-вот ей исполнится пять, — сказали правду: бог взял папеньку на небо, и он теперь там, где живут ангелы, всегда светит солнце и цветут цветы. Девочке запретили спрашивать про отца, особенно у матери. Но всякий раз, увидев тетку одну, Маша задавала этот вопрос: а где же папá?

Детский ум не мог постичь случившегося и принять то, что говорят взрослые. Если бог взял папеньку на небо, почему он там так долго? Почему не спускается к ним или не берет их к себе туда, где так хорошо? Маша думала: а может, он уже возвращается к ним и Азя сейчас скажет: «Он скоро приедет».

Но Азя молчала.

Бонна стала выговаривать девочке, стремясь показать мадемуазель Александрин, что упрямому ребенку не раз напоминали о запрете.

У Маши округлились глаза, стали надуваться губы — признак близкого плача, и она еще больше сделалась похожа на отца.

— Мы сейчас пойдем гулять, — поспешила сказать Александра Николаевна, — вместе с мамà.

— И я, и я! — закричал Саша, толкнул стол, и постройка развалилась.

— И я, я тоже, да? — Маша боялась, вдруг теперь ее накажут.

— Я же сказала: и ты, и Саша, и мы с мамà. Велите няне готовить ваши рединготы и капоры, и кожаные ботинки.

— Не хочу капор! — начала капризничать Маша. — В капоре жарко! — Она затрясла кудрями, а следом за ней завертел головой Саша, во всем подражавший сестре.

— Капор — жарко...

И вдруг, прищурившись, посмотрел на тетку лукаво:

— Азя, я не буду спрашивать, но ты скажи — где папà?

Александрина покачала головой, приложила палец к губам и открыла двери во вторую детскую.

Наталья Николаевна держала на руках Ташеньку, одетую в длинное белое платье, а Гриша, задрав верху головенку, хватал мать за платье и, поднимая ногу в вязаном башмачке, пытался забраться к ней на руки.

Кормилица, дородная молодая баба в повойнике и нарядном сарафане, заправляла в расстегнутый ворот рубахи тяжелые груди. Она только что показывала барыне, что молока у нее много и девочка голодной быть не могла.

— Может, ты кислой капусты поела на ночь? — спросила Наталья Николаевна. — Или выпила чего-нибудь такого? Вот Сашенькина кормилица бражку пила... Помнишь, нянюшка?

— Да уж отнимать Ташеньку пора, матушка-бары-



ня, — сказала няня, — самой ей щец похлебать охота! — И нянюшка завертела перед девочкой деревянной расписной ложкой. — Хотца щец-та?

Девочка потянулась за ложкой и пропела, будто в самом деле ответила: «Да-а-а...»

Все засмеялись, кроме насупившейся кормилицы.

Гриша, увидев тетку, подбежал к ней и протянул руки. Александрина взяла его.

— Гришенька, Гришук, Гришанюшка, — лепетала она ласково, обнимая мальчика. — Когда ж ты у нас заговоришь?

— А вот в мае месяце, а вот сравняется мне два годочка, вот и заговорю, — отвечала за него нянюшка. — Тоже долго на грудях держали, оттого и говорить припозднился.

— И правда, Натали, Таше в мае исполнится год, пора ее отнимать.

— Ваша воля, — сказала кормилица, — только до года зачем дите забижать. Скучать стане, плакать буде...

— Не будем до года, подождем? — Наталья Николаевна вопросительно посмотрела на Александрину и передала девочку кормилице. Малышка радостно забодала ту головенкой.

— Как хочешь, друг мой, ты мать, твое слово последнее.

Гриша внезапно повернулся к матери и так резко, что тетка чуть не уронила его. Наталья Николаевна подхватила сына.

— Я велела одевать старших, Наташа, мы с тобой хотели их взять на прогулку, пора нам собираться.

Наталья Николаевна гладила по спине прильнувшего к ней мальчика.

— Я сейчас, ты иди, иди, я догоню, я скоро.

Она тихонечко подула на мягкие, тонкие волосики. Этот сыночек был летний: того лета, что они жили тут, в Полотняном.

И снова она ждет ребенка — временные не приходят четвертый месяц. И от еды мутит, как бывало. Видно, понесла она в последние январские дни. А может, лишь мнится ей беременность? Нет, она чувствовала, как затяжелела животом, только он не прибавлялся, не рос пока. «Исхудала я сильно, — думала Наталья Николаевна, — потому и не полнится тут».

Мысль о том, что она родит еще от мужа, теперь покойного, утешала ее сердце, хоть и волновала ум. Хотелось ей сынка и чтобы походил на него, как Маша. Пока она ничего не говорила о своем положении: «Станет заметно, тогда скажу». Прислушиваясь к себе настороженно, беспокойно, Наталья Николаевна то совершенно уверялась, что понесла, то разубеждала себя, то холодела от страха, что обманулась, то полностью трезвела, представляя свою вдовью судьбу.

Наталья Николаевна передала Гришу на руки нянюшке и пошла одеваться к прогулке.

Дети успокаивали ее — теплом, лаской, необходимой заботой о них. Но каждый раз, входя в детские, острее чувствовала она сиротство — детей и свое.

## НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Наталья Николаевна

Умирая, сказал он, что она не виновата и перед ним чиста. Но его слова не принесли ей мира и покоя.

Каждую ночь спрашивает она себя — виновна или не виновна она?

В ночные часы вели в ней спор два голоса, и спору этому не видно было конца.

Один голос успокаивал:

Клятву, данную перед престолом Божиим, она не нарушила, не попрадала супружеской верности, и от мужа не скрывала ничего. Он сам так ее приучил.

Другой голос уличал ее:

А тайное волнение и смущение при встречах с Бароном? (Теперь она называла месье Дантеса только так.) Ведь было желание нечаянных встреч, были мечтанья о них. И скрытные прялись нити, тянулись от него к ней, опутывали ее. А она не могла их порвать.

Не могла? Не хотела порвать. Даже когда видела в муже желчность, расстройство нерв. Даже когда замечала любопытные взгляды, следившие за ней, за Бароном, за Пушкиным.

Порвать сети способствовал гнусный старик, Геккерп-отец, père de cet enfant trouvé\*, преступивший границы приличий, позволивший себе нашептывать ей о страданиях, милосердии, намекать о возможности бегства... И взрыв — взрыв чувств, разлитие желчи, бешенство нерв в Пушкине после того, как она рассказала о мерзких намерках барона-отца.

А сын женился, как ни в чем не бывало, на сестре Катерине...

Боже, она опять вспоминает его, хоть поклялась забыть, не произносить его имени.

Измученная вставала Наталья Николаевна со взбитой в бессоннице постели, становилась на колени — молиться, каяться, кланяться. Потом вспоминала: Александр не дозволял ей, беременной, молиться на коленях, как не дозволял бегать и прыгать — охранял ее и младенца. Кто же будет охранять их теперь, если она не обманулась и вправду тяжела? Она трогала свой живот, удивлялась худобе своего тела, старалась вспомнить, как бывало с ней прежде, и, странно, вспомнить не могла.

Вспоминалось другое: как боялась она раньше беременности и в каком состоянии души принимала новое зачатие. Принимала смиренно, как неизбежное следствие брака, и вместе стойко, как божью волю, сонзвонение

---

\* Отец этого подкидыша (франц.).

дать жизнь еще одному человеку. Никогда не осмеливалась она избавляться от плода, как делали иные, обращаясь к столичным сведущим докторам или бабкам-повитухам, поившим женщин спорыньей и другим зельем.

Наталья Николаевна знала, что прервать жизнь, зачатую во чреве, есть то же убийство и, как всякое убийство, — страшный грех.

А теперешняя беременность казалась ей самой желанной. Если родится у нее сынок, похожий на Пушкина, будет это знаком полного прощенья ее вины.

Но вскоре надежды оборвались.

Брат Дмитрий с женой Елизаветой Егоровной, обеспокоенные нездоровьем Наташи, пригласили к ней старого лекаря из Калуги — многим помогал он. Лекарь расспрашивал и осматривал ее, одетую в платье. Она сказала, какие причины подозревать беременность по пятому месяцу. Он мягко прикоснулся к ее животу, раздумчиво покачал головой.

— А временных нет от удара судьбы вашей — бывает такое у женщин.

Наталья Николаевна поникла в слезах. Елизавету Егоровну, при сем бывшую, удивило огорченье золовки. Сама она еще не отошла от испуга, услышав такое предположение. Подумала про себя: «Господи, мало ей четырех сирот».

Потом лекарь беседовал с родными тайно, что он сказал, Наталья Николаевна не выпытывала и ей не говорили. Более всего она огорчена была, что лекарь не подтвердил в ней беременности, а что до болезненных припадков, догадывалась — проявилось в ней скрытое ранее, потрясеньем нерв вышло наружу. Лекарь назначил кровопусканье, ванны со ржавым железом и хвоей, медовое сусло с заваркой из еловых побегов.

Но ничего этого делать не стали — Наталья Николаевна отказалась. Продолжала надеяться, вопреки рассудку утешала себя: вдруг лекарь ошибся.

Однажды ночью в разговорах со своей совестью набрела Наталья Николаевна на ранее слышанное слово магнетизм. Означало оно притяжение одного человека к другому с помощью взглядов и подчинение слабого воле сильнейшей. Она угадала причину слабости своей к Барону в магнетизме его взгляда, в его злой воле подчинить ее себе.

Раздумывая над этим открытием, Наталья Николаевна должна была признать, что натура ее вообще подвержена магнетизму. Вспомнила, как томили ее долгие взгляды Пушкина в первую зиму их знакомства, когда он только заметил ее. Она спиной ощущала его взгляд и знала — он вошел в залу, он ищет ее среди толпы. И потом, когда стал бывать у них женихом, взоры его как бы лишали ее воли. Магнетизм!

Вспомнились и другие глаза — светлые, выпуклые, при взгляде на нее наливавшиеся стеклянным блеском. И тут был магнетизм: не только монаршая, но и мужская власть.

Открытие магнетизма усыпляло тревожные ночные мысли. Проходили день-два и больше спокойно.

И вдруг вновь вспыхивало, взрывалось в ней чувство вины, сжигая все рассуждения.

Да, да, да, она виновата, виновата. Виновата она.

Разве не преступила она долг супружеский, согласившись на тайное свиданье? Разве не понимала всю недоуменность его по законам божеским, человеческим, светским?! Зачем склонилась к мольбам Барона, поверила лживым жалобам, притворной скорби?

Он говорил, что должен изъяснить ей брак свой с Катериной — вынужденный, безлюбивый, тягостный — суицидные пути или кандалы. Идалия Полетика передала Наталье Николаевне его слова: «Если Натали не придет, я застрелю себя публично у ее ног». В этом была угроза, но она не расслышала ее тогда. Она испугалась другого — его смерти.

На самом же деле была подстроена ловушка. Неверная Идалия, прикинувшаяся подругой, сама же тайно домогавшаяся Пушкина, и бесчестный Барон устроили ей западню. Не изъяснять странный брак с Катрин, а захватить обманом ее, Натали, вот была его истинная цель.

Барон угрожал застрелиться, и она, смятенная, поддалась страху и пришла. Испугалась за жизнь низкую, подлую. Жизнь скрытого труса. Теперь она поняла, как ужасно обманулась в нем, поверив в чистую, высокую любовь.

Там, у Полетики, в пустой квартире, куда Идалия привела их и тут же хитро исчезла, Барон угрожал Наталье Николаевне — делал вид самоубийцы, приставляя дуло пистолета к виску. Это был фарс, не более, но тогда она испугалась, закричала, и этот крик спас ее — прибежала, услышав, девушка, бывшая в дальних комнатах.

Наталья Николаевна ушла тотчас. Она едва держалась на ногах; едва добралась до кареты, ожидавшей ее поодаль. Ее знобило, трясло, в висках колело. Дома она все не могла унять дрожь, была бледна, потеряна, и когда Пушкин спросил, что с ней, не больна ли она, рыдалась бурно и рассказала ему все.

Не надо было рассказывать, нельзя было. Но и скрыть... как можно было скрыть от него, обмануть, заставить в обмане и так жить? Можно было сказать большую. А потом?..

Как страшно побелел он лицом и вдруг вспыхнул весь, глаза налились кровью, задрожали вмиг распухшие губы. Он заскрипел зубами, мечась по комнате, какой-то вихрь вынес его, и дверь за ним хлопнула гулко, как выстрел. А она, вызвавшая такую страшную бурю, ощутила внезапную слабость, почти обморочное бессилие, затихла и тут же заснула, не думая о том, что передала ему всю тяжесть своего сердца.

Как она виновата перед мужем, как виновата! Неужели этот чужой, за поступками которого скрывались трусость, притворство, обман чувств, был ей дороже?

Нет, нет. Она презирает, нет — ненавидит... Ненавидит и презирает его.

«Боже милосердный, даждь мне забвение», — шептала Наталья Николаевна. Но, моля о забвении, тут же испуганно опоминалась: невозможно одно забыть, а другое помнить. Страшный узел связывает убийцу с убитым. И она захвачена тем узлом, он тянет и давит ее.

— Зачем он умер? — спрашивала Наталья Николаевна вслух, садясь на кровати.

Разве должно было ему умереть? Лейб-медик Арендт мог вылечить, спасти. Надо было не уходить, остаться при раненом, как сделал другой врач, Даль, который жил у них несколько дней. Если б знаменитый Арендт остался, он нашел бы средство, он бы смог... И ей не надо было слушать Пушкина, друзей его, а быть при нем непрерывно. Стало же ему лучше, когда она покормила его морошкой-ягодой. Зачем он отсылал ее? Зачем ее берегли, уговаривали, уводили в спальню? Зачем она слушала их?

Да полно, умер ли он? Почему не быть ему сейчас здесь, подле? Вот протянет руку, и он рядом, как всегда.

Но рука натывается на пустую подушку, на сдвинутое к стене атласное одеяло, а его нет.

Душа бессмертна, думает Наталья Николаевна, а где же она? Здесь, рядом, или на дальних звездах? Если бы знать, что рядом... Вот коснулась ее лица, будто теплое дыханье — значит, жалеет, хочет утешить. Не надо, чтобы на звездах, лучше ближе к своим, оставленным. А как же тогда обещанные встречи? На звездах ждут другие умершие — родные, друзья, любимые.

Как жаль, что лекарь разуверил ее. Лучше бы жить еще в обмане несколько времени. Все б казалось, что она

не одна, что еще не простились совсем. И души пусть не спешат к звездам, пусть побудут возле покинутых близких.

Ах, она знает, предчувствует — страдание это ей навсегда. Оно затихнет потом, войдет в глубину, но исподволь будет точить нить ее жизни.

## НА АНТРЕСОЛЯХ

Пахомовна и Потапыч

Нянька Пахомовна знала всю гончаровскую жизнь. Старый барин, Афанасий Николаич, взял ее от сынка-первенца, разлучил с молодым мужем. Взял в кормилицы к новорожденному барчуку, единственному сыну своему Николай Афанасьичу. С тех пор, с восемнадцати своих лет, она при господах.

Вся семья Пахомовны, весь их род — отец-мать, братья-сестры, дети и внуки — на заводе не работали, не пряли, не ткали, а пахали землю и сеяли хлеб. Богу, государю и господам были покорные, с утра до ночи трудились, весной сеяли, летом жали и молотили, в засуху плакали и молились, а в войну шли защищать русскую землю. Кончаясь от трудов надрывных, от болезней повальных, от ран кровавых, уходили в землю, оставляя на ней детей своих — таких же крестьян российских, пахарей-тружеников, всеобщих кормильцев.

Пахомовна, оторванная от семьи, скрепила сердце невыплаканное, прилепилась душой к господским детям. Изо всех, кого она пестовала, жальчей всех был ей молодой барин Дмитрий Николаич, теперешний хозяин Полотняного Завода, старому барину-покойнику — внук.

Был Митенька первеньким, рос слабеньким, хворал часто, ушками маялся и оттого сделался глуховат. А еще и заикался от испуга в детских годах. Отец его, молоком Пахомовны вскормленный, в зрелых годах разум поте-



рвавший, Николай Афанасьич, в безумии своем мальчика схватил, укусить пытался. Хорошо, успели отнять ребенка, а то загрыз бы, — спасла Богородица.

Теперь, после смерти старого владельца неделимого имения, упали на Митю-наследника все дела, все заботы, все Гончаровы. Деньги надо добывать, денег все просят, а если их нет, сердятся, приказывают, грозят. Недружные они, раздорные. Из всей семьи только он, Митенька, да барыня молодая Наталья Николаевна — тихие. Наталью, Ташеньку, мать в войну родила, от французов спасаючись. И родилась девочка робкой — припуганная будто.

Пахомовна любила поговорить о господах, о делах господских с Потапычем.

Из всей большой гончаровской дворни они с Потапычем самые старые. Смолоду здоровые, они и в семьдесят не одряхлели, на печь не сели — работают. Пахомовна при господском белье — бабы-прачки и девки-швеи под ее началом, а Потапыч при свечах. Его дело блюсти свет в доме: люстры, канделябры, всё до малого подсвечника чтоб чисто было и со свечами, щипцы, нагар снимать чтоб, на месте, огарки чтоб собраны и в перетопку отданы.

Потапыч — хромой, правая нога изувечена. Он рассказывал, что ранен был здесь под Калугой, а старый бабин, дед нынешнему, его близ дороги подобрал мимоездом и в госпиталь свез и дохтуру сказал будто: «Ногу ему не отрежьте, а наладьте, чтоб плясать смог». И было это в ту пору, «как сам батюшка Кутузов в Полотняном стояли со своими енералами и прочим славным воинством». Пахомовна в этот рассказ то верила, то не верила. Может, и французы, а может, и свои, деревенские, ногу ему перебили колом в праздничной драке, в сивушном угаре. Хитроват был Потапыч, человек бывалый, на выдумку востер, грамоте знал, даже книжки читать мог. Занятный старик.

Пахомовна любила его послушать и звала чайку попить к себе на антресоли. Как сядут к самовару, так и перебирают, что в память придет или о чем сердце скорбит.

Пахомовна чаевничать любила и чай заваривать знала — свойский чай: лист земляничный сухой, да мяты лист, да брусники ягоды, а то и господского спитого заварит, подсушенного, — из Индии-страны или из Китаю-страны. Сахарок тоже у нее водился, не внасышку, а так, вприкусочку комочек.

Откушавши чашки по две, посиживая за чайком, заводили они старые речи, постепенно подбираясь к любимому предмету, о котором вслух в доме не говорилось, но шепталось по углам.

Потапыч складно мог говорить о том, как барин молодой, муж Натальин, убит был, о французе-убийце и о позорной невесте Катерине, склоненной тем французом к незаконному разврату, и как француз вследствие сего к женитьбе молодым баринном Алексан Сергеечем принужден был, избивши развратника при всем бале, за какую заступу позорной девицы царь барина похвалил принародно и с французом на пистолях стреляться повелел.

Пахомовна сокрушалась: не пожалел басурман девицу Катерину, барина-заступника застрелил и барыню-голубку с малыми голубятами не пожалел, не помиловал, сказнил ее горем да болезнью. Буди вечно проклят, злодей-кровопивец, да постигнет тебя кара господня, чтоб гореть тебе в аду в огне вечном...

Потапыч добавлял: «На каленую сковородку задницей».

Вот и вернулась Наталья Николаевна домой вдовицею сама-пята, на братнины руки. А у брата еще и Александра-сестра сидит невыданная, на брата да на всех злобится, мать ему девицу подкинула. Конечно, барышню и пожалеть можно: двадцать пять лет, теперь она при се-

стре да племянниках так и останется теткой-вековухой. И как это матери заботы о дочернем замужестве не иметь? Другая б не успокоилась, пока всех по порядку, по годам не устроила. Теперь дочери ее все несчастные: одна вдова, другая за злодеем, третья старая девка.

А Гончарихе что? Она и мужа бросила в московском доме на дворовых, на мужиков-пьяниц: Проньку, Сеньку да одноухого Ромку. Кинула барина больного на висельников-разбойников и уехала в свой Ярополец. Отдыхает от семейной жизни.

Приезжала, как дочь-вдовушку с внучатами привезли. Утешала: ты, говорит, Таша, молись и молись — в этом твое спасенье, я говорит, по себе знаю. А от самой за версту зверобой-настойкой пахнет. Без бутылки из дому не стронется, чтоб, значит, прикладываться в любой час. Сидит при своих доходах, никого знать не хочет, ни о ком душа у нее не болит. Озлобилась у нее душа.

Правда, и ее жалко. Красавица была и замуж по любви вышла, и вот такое несчастье с барином Николай Афанасьичем — умом решился. И ведь сколько лет болен, а смерти бог не дает.

Видно, прогневил кто-то из Гончаровых господ бога, такие наказания им посланы. Может, старый барин Афанасий Николаич? Уж очень покойники были развратные, очень уж пьяницы и похабники.

Тут Потапыч заступался: они ж были мужчина в цвете лет и сил своих, как их жена бросила.

Да, как подумать, то и старого барина жаль. Супруга его, Надежда Платоновна, тоже были головой скорбные. А допреж того, как в полное расстройство прийти, много она над мужем изгилялась, иначе как Афоней-дураком не звала. Он детей хотел, а она ему одного только сына и родила. По внучатам видать, как ему детей хотелось, — любил он внучат. Но Наталья Ивановна, сноха, Гончариха тоись, детей к деду не отпускала гостить, а детям про него говорила плохое. Детей не пускала, а деньги

с него тянула. Его чернила — такой-де, сякой, развратник да пьяница, а сама тоже пьет, да и с лакеями... Вон Яшка какую над ней власть захватил.

Но больше всех Митеньку жалко — сколько забот на него упало. А Потапыч в господских покоях слышал: злодей-то француз с Митеньки Катериного приданое требует — страшные тысячи.

— Ахти, батюшка, что говоришь, ах убивец-злодей — убил, да еще денег спрашивает, ворюга проклятой...

— Барыня Наталья Николаевна оздоровеет, утешится, еще замуж выйдет. Такая красота всякому лестна будет, а вот барышня, та навряд пристроится — очень уж они ндравные, очень уж капризные...

— Эх, Потапыч, сказано: «Не родись красивым, а родись счастливым». А счастья-то и нет им...

— А барыне Елизавете Егоровне сынка родить надобно. Вырастет барину помощник, имению наследник.

Все переговорили, обо всем рассудили, и самовар пустой — пора прощаться.

— Спаси бог за чай, за сахар, за доброе слово. Спокойной вам ночи, веселых снов.

— Ты уж скажешь — веселых! В боку бы не кололо, да ноги не кретило.

## ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Сергей Львович

Верст двадцать Сергей Львович ехал, сердито уставив глаза в одну точку, не глядя по сторонам. Старую разбитую коляску трясло, гончаровские лошади для нее были слишком резвы. Он уже раза два ткнул тростью в спину малому, что был кучером и вместе слугой, и прокричал дребезжащим голосом: «При-и-и-держи-и-вай!»

Сергей Львович был огорчен и на себя зол — зачем поехал в Полотняный Завод? Он отправился туда по ве-

лению сердца, это было движение души, страдающей, одинокой, стремящейся к другой такой же душе... Да, он разочарован встречей с вдовою сына. Он поехал, не считаясь с обидой: будучи проездом в Москве в феврале, она не остановилась повидаться с отцом погибшего мужа, ограничилась письмом — извинениями и оправданиями, ссылкой на нездоровье. А он, старик, согбенный под тяжестью двух потерь, недавно овдовевший сам, поехал в такую даль, презрев обиду, готовый распахнуть объятия отца навстречу *chège ravvrette*\*, и теперь обижен еще больше.

Наталья Николаевна приняла его холодно, была сдержанно-вежлива, слишком спокойна, молчалива. Ни слова о трагедии, будто трагедии не было совсем. Она не простерла руки навстречу отцу, не упала ему на грудь, не воскликнула: «Пожалейте и простите меня!» Сцену эту Сергей Львович представлял так часто в мыслях, что совершенно привык к ней, и на мольбу Натали готов был ответить великодушным прощением. Теперь Сергей Львович изумлялся — ни слез, ни раскаянья... непостижимо! И вот он расстался с ней, как с дочерью. В последний миг прощанья она потеплела, он ощутил влагу на ее щеках и — простил. Да, да старость должна быть мудрой, мудрость должна снисходить...

Как всякая прелестная женщина, Натали не виновна в том, что Дантес влюбился в нее. Александр уверял, если только не шутил в своем духе, что государь *est aussi amoureux*\*\* . Не в привлекательности, не в очаровании, конечно, вина ее, а в том, что она слишком предавалась свету. Надо было считаться с положением мужа, с недостатками всей семьи. А балы, катанья, маскарады, кавалькады требовали туалетов, куафюр, бриллиантов — шика. Каждый аничковский бал означал новое

---

\* Бедняжке (франц.).

\*\* Тоже влюблен (франц.).

платье. Впрочем, тут не ее вина, — прихоть императорской четы, пожалованье Александра камер-юнкером... Новое платье у madame Sichler — не одна сотня рублей... Покойница Надежда Осиповна права была, когда упрекала сына, что он слишком балует жену... Они, родители знаменитого поэта, порой отказывали себе в лишней бутылке вина, в лишнем фунте кофью...

Сергей Львович поморщился, вспомнив, что у Гончаровых кофий заваривают жидковато, он привык пить крепкий... Да, Надежда Осиповна, как любящая мать, позволяла себе высказывать тревоги и опасения, но Александр не любил подобные темы и разговоры о жизни не по средствам прерывал. Вот так всегда — родителей не слушают, а потом...

Впрочем, к чему теперь вспоминать все это? К чему терзать свою душу? Пожалуй, Натали суше, черствее сердцем, чем рисовал ее Александр. Натура сестры ее будто мягче, отзывчивей. Сергей Львович нашел, что Александрина огорчена более и выглядит несчастней сестры. Как она сказала ему, когда они были вдвоем в гостинной? «Если я хотела когда-либо уйти в монастырь, то именно сейчас». — «Вы, в монастырь, при вашей молодости?!» — Сергей Львович хотел было сказать «при вашей красоте», но решил, что это будет exagération\*. Хотя Александрина недурна, совсем недурна: локоны, спадающие вдоль щек, плечи, талия, грудь...

Остановив свои мысли на сем сюжете, Сергей Львович заулыбался. Встречи с молодыми женщинами стали теперь производить в нем какое-то страстное воспарение духа. Он легко впадал в состояние восторга, сменяющегося неизменно жалостливой обидой на старость и дряхлость.

Да, Александра была с ним мягка, очень мягка и, как показалось ему, шла навстречу его мгновенно вспыхнув-

---

\* Преувеличение (франц.).

шей симпатии. Неожиданно выпрыгнула шаловливая мысль — не жениться ли ему вновь, и на молодой. Но Сергей Львович и устыдиться не успел, коляска пошла по комьям засохшей грязи столь качливо, кренясь то влево, то вправо, что и выпасть недолго. Он сунул тростью в спину малому и, как только дорога поправилась и лошади перешли на ровную рысь, задремал, поклевывая ястребиным носом.

Через несколько минут он проснулся — колеса шли по мягкому, почти без шума, — они въехали в лес, еще повесенному ароматный, хоть и был на исходе июнь. Из-под деревьев потянуло прохладой, из чащи слышалось разноголосое пенье птиц, и Сергей Львович погрузился в тихие, теплые мысли о внуках.

За три дня пребывания у Гончаровых он видел детей всего три раза, но и за короткое время успел привязаться к Машеньке, удивительно похожей на погибшего сына. Те же курчавые волосы, толстые губки. Как говорил Александр: «Моя маленькая литография». Живая, порывистая девочка, и так же, как отец, могла внезапно задуматься, а на личике вдруг проступала грусть.

Перебирая в памяти черты внуков, угадывая в них сходство с сыном, с Натали, Сергей Львович вошел в мирную стариковскую грусть по уходящей жизни. Срок его подходит, что делать — возраст. Да и Надежда Осиповна ждет его там. И с острой болью он вспомнил, что там не только жена, но и сын, погибший в расцвете сил. Сергей Львович расстроился, почувствовал колику в сердце, велел кучеру остановить лошадей: он хотел выйти, постоять на земле, пройтись немного. Скоро ли станция? Там он отдохнет, пообедает и двинется на почтовых даде. Он ехал налегке, с одним сундуком, без слуги.

Вот и станция, малый помог старику выйти из коляски на крыльцо. Из дому уже выбежал смотритель, вышла за ним, любопытствуя, хозяйка, а за ней и двое проезжих, мужчина и женщина, одетые небогато.

Открыв дверь, услышал Сергей Львович, как у малого, возившегося с сундуком, спросили: «Кто таков старый барин?» — и как малый ответил: «Гончаровых гость, молодой барыни свекор».

Сергей Львович обернулся на пороге, хотел сказать громко, но смутился и едва слышно пробормотал:

— Пушкина-поэта отец, надобно сказать...

Позже, за столом, закусывая холодной телятиной с огурчиками из гончаровских парников, Сергей Львович полюбозыствовал у бабы, подавшей самовар: кто слывет лучшим хозяином Заводов, старый ли Гончаров, покойный Афанасий Николаевич, или нынешний — внук его Дмитрий?

На что та ответила почтительно, но непонятно: «Афанасий Николаевич громкий был барин, а Дмитрий Николаич тишее всех остальных». Смотритель взошел спросить, можно ли подавать лошадей, Сергей Львович заторпился, очень хотелось домой, в Москву. Как это у Александра?

Ах, братцы, как я был доволен,  
Когда церквей и колоколен,  
Садов м-м ... чего-то полукруг  
Передо мной открылся вдруг!

Сергей Львович запутался в стихах, засуетился, пошел к дверям.

Вспомнил:

Садов, чертогов полукруг  
Передо мной открылся вдруг!  
Как часто в горестной разлуке...

Не мог продолжить — подступили слезы. Украдкой отер он глаза, заспешил к коляске.

«Бессмертное творение, как и другие многие...» — подумал Сергей Львович, но утешиться этим не мог.

Он был отец, ему надлежало умереть ранее сына.



## ЗАКРЫТЫЕ СУНДУКИ

Лиза-швея и Елизавета Егоровна

Связка ключей позванивала в руке Лизы, спускавшейся вниз, — там, в парадных покоях, стояли сундуки, привезенные из Петербурга.

Залы, гостиные — большие, малые — пустовали. Давно отгремели многолюдные приемы старого барина, а сейчас, в траурный год, даже малых гостей не бывало. В комнатах было сумрачно от ставен, пахло пылью, ветхими обоями, мышами. Лиза вошла, прикрыла за собой двустворчатые двери, открыла ближний ставень. Комната осветилась тускло сквозь невымытые стекла, видны сделались кресла с голубой обивкой, стол на львиных лапах, Лизино лицо — угрюмое, с недобрыми глазами.

Лиза подошла к большому сундуку, потрогала всяческие замки в медных пробоях, пододвинув стул, села и сказала негромко:

— Вертешня.

Шея ее вытянулась, подбородок приподнялся, сутулая спина распрямилась. Кого-то представляя, кривляясь, Лиза прошипела сквозь сжатые зубы:

— Ах, шашели, ах, моли... Шашели шали поббли, моли платье сточили...

И добавила с радостной злостью:

— А хоть бы и сточили — мне что? Мое дело не блюсти платье, а шить.

Александра-барышня ее почему сюда послала? Не от большой заботы, от малой — кацавейку ее любимую не найдут, с самого приезда все ищут, подарок тетюшки петербургской Катерины Ивановны. Небось не украли, заложили — нам ее не носить, бархатную, лазоревую.

Лиза зашевелилась, подбирая ключи к первому сундуку, с трудом отперла замки, откинула хрипло зазвеневшую крышку — застоялось, заржавело железо. Из

сундука потянуло лежалым одеваным платьем, паленым волосом — видно, и пукли сюда покидали в спешке.

Добро; добро... Дорого да мило... денег больших стоит. А случись несчастье, и обернется добро прахом. Вот и есть оно — шелка да бархаты — прах. Лежат три месяца, еще три года пролежат, никому не нужные сотлеют, и лоскута не останется от богатств.

Лиза ненавидела душой всякую modestю — грыдынапли, блонды, бродеризы — по-русски сказать — украсы. Через господские туалеты осталась она в старых девках, отцвела пустоцветом.

Барыня Наталья Ивановна, трех девиц маменька, взяла Лизу из Заводов в Москву. Лиза была хорошей швеей, вострухой — ловко перенимала, научилась сама делать разные франсезы. В Москве Лизе досталось обновлять платья, — наряжать трех барышень с Кузнецкого мосту денег не хватало. Взять хоть блонды: каждый год они в моде. На платьях, мантильках, на шляпках — все блонды. Не накупишься. Лиза додумалась блонды отбеливать, на коклюшках растягивать — придавать новокупленный вид. Стала Лиза-швея большой искусницей во всех модестях и тем была загублена.

В самом цвету была девушка, когда полюбился ей соседских господ человек. Разве барыня стала бы слушать, раз других господ? Хоть в ногах изваляйся, не стала бы, осмелей Лиза просить. Да и не осмелела она...

Потом хотел ее взять свой же, с Полотняного Заводу. Они оба просили барыню Наталью Ивановну, но Гончариха Лизиною замужества не хотела: пойдут дети, заботы, болезни — руки задубеют. Отказала барыня начисто, а чтобы и думать неповадно, женила того заводского на другой.

Лиза невзлюбила старую барыню, барышень. Стала она быстро вянуть — пожелтела, ссутулилась. Озлобилась — доставляли ей тайную радость чужие невзгоды, горести, полюбились раздоры, несогласья.

Когда барышни Катерина и Александра поехали жить в Петербург к сестре, Лизу отправили им служить.

Опять ее определили к шитью, но теперь она шила домашнее, а еще — детям, пушкинским барчатам.

И тут Лиза, никогда никого не жалевшая, зачерствевшая в нелюбви, вдруг полюбила. Кого же? Сашеньку — маленького Пушкиных сына.

Прикидывая на мальчике новое платьице, Лиза нарочно медлила, чтобы подольше поддержать его. Он стоял у нее на коленях, трогал теплыми ладошками за лицо. Она слушала его болтовню, улыбалась, украдкой совала ему в рот лакомство — кренделек на меду, сахарное яблочко-китайку. Угощение мальчик чаще выплевывал, но это ее не обижало. Она учила его говорить «Лиза», и он повторял за ней, забавно коверкая, пока не приловчился по-своему — Лиша.

Лиза стала забегать в детскую просто так — повидать мальчика. Ей казалось, что Сашеньку любят меньше других детей, обделяют в еде, что мать не ласкает его, как остальных, а тетки и няньки шпыняют зря.

Один только барин Александр Сергеевич обращался с мальчиком, как хотелось Лизе. И она стала уважать барина более других.

Сашенька был в ее душе, как один-единный зеленый колосок в выжженном поле. А поле оставалось сухим и жестким. Только смерть барина Александра Сергеевича тронула ее горем — осиротел Сашенька.

Лиза почти опорожнила сундук, выкладывая платье на диваны и кресла, брезгливо бросая на пол волосы — букли, косы, свернутые узлом.

Добро было уложено вперемешку, наспех. Лиза глухо ворчала, перегнувшись через край сундука и стараясь нащупкой отыскать бархатную кацавейку. Она не заметила, как сзади подошла барышня Александра, спросила нетерпеливо:

— Ну, нашла?

Лиза распрямилась, губы вытянулись в ниточку подобием улыбки, и она заговорила тонко, нараспев:

— Нету, барышня Александра Николаевна, нету по-камест, да найдем сейчас, найдем. Укладывали-то как — вальном валяли.

Барышня огляделась с прищуром.

— Ты только первый сундук разбираешь?

— Так ведь узнать надо, где платье, где что. Как ни открою — везде книжки... — соврала Лиза, надеясь, что барышня в духоте и темноте долго не пробудет.

— А моли не видно?

— Нет-нет, моли нету, барышня, не видать, слава богу.

— Открывай дальше — вон тот, кожаный.

— Чумадан?

Лиза схватилась за крышку, обтянутую кожей, стонкими деревянными планками поверх. По всему было видно, что барышня ни о чем, кроме своей кацавейки, не думает, авось да и унесет ее поскорей, а тогда надо позвать девок да вытащить тувалеты на солнышко — сушить, пора уж.

— Волосье сжечь, что ли? — Лиза ткнула носком башмака в лежавшие на полу волосы.

— Ты делай, делай что приказано, — уклонилась Александра Николаевна.

Не знала она, что делать со всем этим. Выйдет из моды, обветшает... Да и что эти вещи теперь, когда жизнь рухнула!

Лиза вскрикнула радостно:

— А вот она — кацавеечка!

Вытащила из-под платьев голубую бархатную разлетайку, развернула и ахнула. Вскрикнула и барышня:

— Моль, моль! Я так и знала — все пропадает, я говорила...

Она выдернула из рук Лизы кацавейку — на спинке светились мелкие дыры.

— О! Тетушкин подарок, лионский бархат, моя любимая кацавейка. Это все ты, ты, я давно спрашивала — где? Давно надо было найти.

Лиза на всякий случай отступила шага на два, — барышня могла и махнуть. Они были гневливые.

В это время двери тихо открылись, и, прихрамывая, вошла Елизавета Егоровна. Она немного робела перед «петербургскими», хоть и была в доме хозяйкой, держалась с Александриной осторожно.

— Можно к вам на минутку, сестрица, не помешаю я вам?

Александрина опустила поднятую руку, уронила кацавейку.

— Мне хотелось взглянуть на ваши бальные платья, — простодушно призналась Елизавета Егоровна. — Я ведь скромная провинциалка, никогда не видала работы прославленной мадам Цихлер. Говорят, она сильно превосходит в искусстве московских француженок...

Елизавета Егоровна немного хитрила. Ее интересовали не все платья, а те, в которых Натали танцевала на придворных балах.

— Пожалуйста, та сhère, если вам интересно. Но здесь такая духота, что у меня вот-вот разболится голова, даже в жар бросило...

Барышня опустилась в кресло, а барыня приказала Лизе открыть еще один ставень и стала оглядывать разбросанные кругом платья.

На одном из кресел лежало, широко раскинувшись, атласное платье цвета темного меду, отделанное пальметтами в тон старой бронзы. Елизавета Егоровна тихонько потянула за край юбки, разглядывая вышивку. От платья шел едва ощутимый запах жасмина.

— Какая красота! — вздохнула она.

— Натали танцевала в нем последний раз в Аничковом. Мадам Цихлер работа. Не помню точно, но, кажется, стоило тысячу рублей.

Александрина не стала говорить, что это был подарок тетушки Катерины Ивановны, фрейлины Загряжской. Подарки свидетельствовали об ограниченных средствах, о небольшом размахе петербургской жизни.

— Боже мой — тысячу рублей?!

Елизавета Егоровна еще глядела на платье, но восхищение, им вызванное, угасало.

Дмитрию стоит таких трудов и хлопот вытаскивать Заводы из разорения, выплачивать дедовы долги, выдавать содержание братьям и сестрам. А тут еще претензии барона де Геккерна о приданом. Теперь же содержание семьи покойного зятя.

Елизавета Егоровна за два года брака с Митей с трудом наладила хозяйство в доме. А то ни сливок, ни даже масла своего не было к столу.

А с деньгами плохо, очень плохо. Она и пятьдесят рублей потратить на платье затруднилась бы. Ей было обидно услышать, что на платье истратили такую огромную сумму. Обидно за Митю. Сестры смотрели на него, как на приказчика.

Елизавете Егоровне вдруг вспомнились письма из Петербурга к ее мужу, вечные требованья денег, колкости и насмешки, на которые так щедро бывала Александрина, обозленная задержкой в присылке.

Ей уже не интересны были петербургские туалеты, она только делала вид интереса, обходя кресла и диваны, наклоняясь, притрагиваясь к шелкам и кружевам.

— Извините, Lise, я пойду, — Александрина прижала кончики пальцев к вискам, — боюсь, будет мигрень.

— Вы правы, сестрица, здесь душно, пойду и я, еще надо взглянуть на мебели в угловой, не завелась ли плесень.

И, пропустив Александрину вперед, Елизавета Егоровна пошла, припадая на больную ногу, в нижние залы. Она шла в полутьме и думала о громадном пустующем

доме, о трудном дедовом наследстве. «Тут сколько денег надо — дом содержать, мебели блюсти». Тысячу за платье, боже мой, но кто знает этих петербургских, их обычаи и что ведомо ей о придворных балах? Она не осуждала Натали за ее успехи в свете, молва о которых дошла и до калужских дам. Младшая золовка — красавица.

Бедная, может, она и виновата в несчастном этом дуэле, но как не пожалеть ее, оставшуюся с четырьмя детьми? Елизавета Егоровна остерегалась осуждать: «Не судите, да не судимы будете».

Чтобы судить, надо все знать, а все кому открыто?

Что знает она, сельская жительница? До сих пор не поняла она, что означает «поэт». Знала — многие молодые люди пишут стихи, как многие барышни поют. Но в зрелом возрасте писать стихи, как Пушкин, разве дело для женщины? Уразуметь такое было ей не по силам. И хотя она знала, что Натали заказывала Дмитрию бумагу — печатать книги, написанные Пушкиным, все равно не могла поверить, что это есть дело. Бумага, бумажные заводы, — бесспорно, дело. А стихи — стихи удовольствие, украшение жизни, как цветы, музыка, пенье.

Стихи Пушкина ей нравились. Когда-то, дрожа от скрытых слез, переписывала она в альбом:

Под вечер осенью ненастной  
В далеких дева шла местах,  
И тайный плод любви несчастной  
Держала в трепетных руках.

Стихи были трогательны, страшили недосказанным — особенно «тайный плод». Знала она потом и другие его стихотворения, они, может, и были красивее, но ни одно не производило в ней большего волнения.

А что означало быть женой поэта? Когда-то ей думалось, что это легкая, красивая жизнь, похожая на живые картины. Теперь ей не кажется так. Натали каждый год рожала, один раз выкинула и тогда долго болела, носила

всегда тяжело. Вспомнилось, как зло писала о беременностях замужней сестры Александра брату (Елизавета Егоровна читала письма сестер, которые Дмитрий свято хранил, как бы резки они ни были): «Ковыляет, как гусыня», «едва ползает», «только освободится, как опять принимается за прежнее», — странный тон у Александрины. Слава богу, что сейчас с Натали обошлось.

Что до петербургских развлечений, которые так странно и живо описывала Александра, то, видно, развлекались больше старшие сестры. А впрочем, что ей до их жизни. Вот и впала она в грех осуждения...

Лиза-швея запихала обратно в сундуки вытащенные платья, — успеется с ними. Сгребла ногой пукли и косы на подстеленную мантильку, связала узел, грохнула крышкой большого сундука — будто из пушки выстрелила, навесила замки.

Потом, тихонько хихикая, надела лазоревую кадавейку, подняла валявшееся на полу пышное малиновое перо — страусовое, крашеное, подошла к зеркалу, воткнула в косу.

Зеркало, испорченное сыростью, едва пропускало сквозь туманные пятна ее отраженье. Дико скосив глаза, вытянув губы дудкой, завертела Лиза головой, раскачивая перо, ставшее торчком на затылке, тонким гнусавым голосом выпела налево-направо слова, будто бы с кем разговаривая.

— Ах, мадам, сильвупель трежали манифук компре-най. Ах, мусю, куафир даржант бламанже...

Кого она изображала, она не знала, — ей нравилось посмеяться над ними всеми.

Вынимая перо из косы, сказала напоследок своему отраженью:

— До чего вы, моншерка, авапсантины — глядеть тошно.



## ОСЕНЬЮ В ПАРКЕ

Наталья Николаевна

Уходила пора первой осени, ночами заходило, но дни стояли теплые, солнечные, и мягкие нити паутины пролетали, цепляясь за ветви, опускаясь на цветы, — признак последнего бабьего лета.

Александрина ездила подолгу верхом на Ласточке, возвращалась возбужденная, раскрасневшаяся, и еще бледнее казалась рядом с ней Наталья Николаевна. Однажды сестра позвала ее на верховую прогулку, но Наталья, ничего не сказав в ответ, сжалась, будто ее толкнули, и Александрина поняла неуместность своего приглашенья.

Наталья Николаевна часто гуляла с детьми в парке. Оставив младших на попечение няnek, забирала у бонны Сашу и Маншу и уходила подальше от дома.

Парк стоял в торжественном убранстве, нарядный, как сказочный дворец. Листья деревьев с каждым днем меняли цвет. Желтели березы, напоминая переливы огня в дюстрах, то пламенели, то принимали цвет темной бронзы клены, золотисто-зелеными шарами светились у пруда ивы. Подобно алым бархатным коврам, тянулись шпалеры подстриженных кустов боярышника, и гордые туи стояли, как канделябры, подняв вверх резные темные ветви. На смену розам и гелиотропу расцвели яркие георгины и нежные хризантемы, и клумбы казались громадными цветочными корзинами, расставленными вдоль анфилад.

Дети искали под деревьями грибы, желуди, собирали в траве яркие листья. А Наталья Николаевна ходила неподалеку по дорожке, то удаляясь, то приближаясь, и нити ее мыслей тянулись за ней, как уток по основе, восстанавливая ткань ее жизни, — вперед-назад, вперед-назад. Временами она замирала, подняв лицо к нежар-

кому солнцу, дети подбегали — показать свои находки, спросить. Она отвечала им, опять думала свое.

Последнее время она сама, ее судьба стали занимать в ее мыслях все больше места, понемногу вытесняя его. Тихо текли тоскливые думы о проходящей молодости, увядающей красоте, неудавшейся жизни.

Зачем обманывать себя? Она не знала настоящей любви. Под венец шла, не ведая, что есть любовь, потом было смятение, страх перед страстью мужа, а после, как дар вышний, — сердечная привязанность к нему.

Далеко от девических мечтаний и надежд, но как многие выходят замуж именно так, почитала она себя довольной, найдя мирное счастье в супружестве.

Но так и не узнала она того, что каждая жаждет пережить в любви: сердечного восторга, обмирания сердца до потери дыхания, полного забвения себя.

Мечтала ли она о такой любви потом? Нет, она не предавалась греховным помыслам, не ждала, не искала любви вне брака. Но испытывала тайное наслаждение, утверждая свою женскую власть, и радовалась всякой новой победе. Сердце ее ликовало, когда встречались в толпе измученные скрытой любовью глаза. Порой не могла удержаться — хвалилась перед мужем. Он сердился, упрекал в кокетстве, а может, делал вид, что сердится: тут же смеялся над поклонниками, а вместе и над ней, делая сравнения вполне простонародные. Все ж ей казалось, что успехи ее скорей забавляли Пушкина, чем возмущали. Она знала: шепот восхищенья, слышный сквозь шуршание шелка, — Пушкина, Пушкина Наталья, Пушкина-поэта жена, — ласкал также его слух.

Кается ли она в своей прошлой суетности?

Наталья Николаевна приостановилась и вздохнула, — глубокого раскаянья она не испытывала.

Но были же у нее и другие радости, были!

Было три года назад счастливое лето, когда она с Машей и Сашей гостила здесь, а Пушкин приехал после

трехмесячной разлуки. В то лето она была влюблена в него. На всех здесь нашел тогда какой-то веселый стих — они бегали и резвились, как дети. Играли вместе с девушками в горелки, и он был быстрее и ловчее всех. Они визжали, убегая, увертываясь от его рук, хохотали до задышки, и был он как огонь — горяч, внезапен, красив. Еще вспомнила, как прыгали со стожков сена к нему в руки, и, когда он ловил сестер, она ревновала к сестрам. Или скакали все вместе верхами, ей хотелось обскакать сестер и тем понравиться ему, он хвалил ее при всех за смелость, за резвость коня, а наедине выговаривал: боялся, что упадет, она не так ловка была в седле.

Многое вспоминалось ей из того лета, может самого радостного, самого горячего в ее жизни.

И сердечной близости стало больше меж ними: Пушкин поверял ей свои мечты о жизни в деревне, о тишине, покое, о независимости, что потребны для трудов его, для семейного блага, а также огорчения — царь выразил неудовольствие свое просьбой об отставке.

Как-то вечером, когда они были одни, Пушкин прочитал ей начатые стихи:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит, —  
Летят за днями дни, и каждый час уносит  
Частицу бытия...

Стихи были резко противоположны их веселой здесь жизни, поразили ее тоской, мыслью о смерти, будто совсем близкой. Она заплакала, сказала, что стихи ей не нравятся, что они плохие.

А он неожиданно рассмеялся, взял ее нежно за уши, как он любил, поцеловал в глаза, в лоб и сказал с ласковой насмешкой: «Эх ты, недоука, стихи хорошие, закончу — увидишь» — и тут же стал дурачиться — изображать в лицах сватовство приехавшего в Заводы жениха. Жених просил у маман руки какой-нибудь из сестер, все равно которой, лишь бы маман согласилась, но тут он

внезапно влюблялся в Натали и, не желая слышать о том, что она замужем, умолял немедленно их благословить.

Никогда не любила она Пушкина более, чем в то лето. Не помышляя до сих пор о сельской жизни, не желая ее, дала она согласие на переезд в деревню. Пусть будет, как хочет муж, как для него лучше...

Только в деревню они не уехали.

А почему?

Отставки Пушкину государь не дозволил.

Все ж и после того думали о деревенской жизни, об устройстве своем, беспокоились о запустелом доме в Болдине, о необходимых поправках, перестройках, о переезде, что вести и кого из прислуги брать...

Но чем больше говорили, тем более прояснялась вся трудность перемены. Пушкин метался, горячился. — ...Бесправие поэта в России... Имения заложены, денег нет... Вечно на страже Бенкендорф... Кругом долги... Отецеская рука мопаршня... И тут он должен...

Долги тоже держали в Петербурге.

Никуда они не уехали.

Сейчас думается: может, и была тогда настоящая любовь? А она не признала, не сумела удержать, сберечь...

...Ну, а другое — неужели было любовью? Нет, она отказывала тому в столь высоком имени. Головокружение, vertige, магнетизм — вот что было другое. Начисто сгорело оно в пламени ее горя.

Теперь она знает: большой любви не будет в ее жизни никогда, большая любовь сделалась невозможна.

Шелестели, падая с деревьев, желтые листья, облажались ветви, и Наталья Николаевна казалась: столь же быстро, ощутимо уходит ее молодость.

Что впереди?

Темные стволы, голые ветви, побуревшая жухлая трава, холод, пустота.

Старость.

## В ДОМЕ У ГОНЧАРОВЫХ

Дети, дворовые, господа

С наступлением сырых осенних холодов затопили печи в жилых комнатах, и большой дом с дымящими трубами, подобно пироскафу, поплыл в море сплошного мелкого дождя.

Парк потемнел, набух влагой, на мокрых ветвях повис туман, закрыв дороги и окрестные просторы. Прогулки окончились.

Наталья Николаевна тяготилась сидеть днями взаперти в своих покоях, бродила по дому, не зная чем заняться, не находя себе места. Тоска в ней опять усиливалась. Гончаровский дом, где жила она когда-то девочкой у деда, был ей хорошо знаком, но в нем она все ж не была дома. Стены здешние не держали ее, не были ей опорой.

Однажды днем, проходя через пустую столовую, остановилась Наталья Николаевна у окна, глядела на серое низкое небо, намокшие деревья, лужи с пузырями дождя. Вдруг ей почудился на аллее, ведущей к дому, за одной из лиц, — Пушкин. Сердце дрогнуло, забилося. Он прятался за стволом старого дерева, в сумерках дождя виднелся только край цилиндра, плечо, пола крылатки, рука с тростью.

Прильнувши к стеклу, вглядываясь, она доказывала себе, что не ошибается. Доказывала не тем, что видит краем цилиндр и крылатку, а тем, что он прячется. Зачем и кому прятаться тут? От кого прятаться, кроме нее, глядящей в окно? Прятаться мог только тот, кто не смел присоединиться к ним, находящимся в доме, кто не имел дозволения и показаться въяве...

Пытаясь разглядеть получше стоящего за деревом, она наклонилась, стукнулась больно о стекло и вскрикнула.

— Матушка, Наталья Николаевна, не убились?

За спиной у нее очутился Потапыч со свечами и тряпкой в руках.

Наталья Николаевна обернулась.

— Смотри, вон там... Видишь, прячется за липой? В цилиндре и с тростью. Кто это?

— Барыня-магушка, кому там быть, кому прятаться? Вона приказчик пошел — в картузе да с палкою. К барину приходил с заводов приказчик. Может, и зашел за липу по нужде. Бог с вами, барыня, кому тут скрываться.

Наталья Николаевна, вздохнув, отошла от окна. Подумала: «Не с ума ли схожу?»

Вечером спросила у Александры, ничего ей не рассказывая:

— Что, если помешаюсь в уме, как папенька?

На что Александрина ответила, скрывая испуг, резко:

— Ты, мой друг, не придумывай, — слишком ты проста в уме мешаться.

А про себя заметила: «Натали обнаруживает склонность к фантазиям». От Елизаветы Егоровны она знала, что Наташа почти пять месяцев считала себя беременной, несмотря что живот у нее впалый, как у борзой.

Близкие, тяготясь прогулками Натальи Николаевны по дому, безмолвным появлением ее то там, то тут, пытались обратить Натали к повседневным заботам.

Елизавета Егоровна просила помочь в наблюдении за хозяйством. Однако для этого надо было не только уметь распорядиться, но и знать самой, что в кладовых, что потребно на кухне, даже следовало иметь в уме картину жизни скотного двора. Наталья Николаевна ничего не знала о гончаровском большом хозяйстве, а жена брата так явно не нуждалась в ее помощи, что даже не смогла удержать вздоха облегчения, когда Натали отказалась.

Дмитрий Николаевич хотел посвятить сестру в дела Полотняного Завода. Он пытался обрисовать перед нею источники доходов, способы погашения долгов, а также исчисления сумм, положенных на содержание младших

в роде Гончаровых. От рассказов брата у Натальи Николаевны начинала болеть голова — он изъяснял все столь медлительно, подробно и вместе так путано, что сам терял нить мыслей и не мог внятно обозначить суть дела.

Пробовала Наталья Николаевна вышивать, как любила когда-то, но занятие это вызывало в памяти мирные картины семейной жизни, и за пальцами еще сильней охватывала ее тоска.

Надо было разобрать имущество, привезенное из Петербурга, но она страшилась трогать и даже смотреть на вещи оттуда, наполненные прежним, ощущая это прежнее как некую материальность, вещество, способное причинить не только боль, но и болезнь.

Недавно взяла Наталья Николаевна шкатулку с письмами мужа, писанными к ней в разные годы, в недели и месяцы их разлуки. Взяла одну из пачек, перевязанных снурком, достала сложенный листок, подержала в руках, не развернув еще, и вдруг начала дрожать. От одной только мысли — вот этот самый листок держал он в руках, вот эти слова написал он. А слова были самые простые:

«Милостивой государыне Наталье Николаевне Пушкиной.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой набережной у Прачечного мосту в доме Баташова».

Вот от этих лишь слов стал ее бить озноб. И Наталья Николаевна закрыла шкатулку и крепко обвязала крест-накрест черной тесьмой. Не было у нее сил читать его письма. И книги, его книги тоже не могла она трогать. Она пробовала открывать их, не те, привезенные с собой, а другие, присланные по ее просьбе Плетневым. Она начинала читать, но читать не могла — в стихах звучал его голос — певучий, звучный, живой. И опять начинался озноб.

На все оттуда, от прежней их жизни, у нее не то что сердца не хватало — не было простых телесных сил.

Александрина, продолжавшая, несмотря на непогоду, свои верховые прогулки, журила сестру за недостаточно твердое управление детскими. Кормилицу после отнятия Ташеньки от груди следовало отправить в деревню, с одной из нянек тоже можно было расстаться теперь, когда в детские поставлена Фиска. Многолюдство не способствует порядку. Еще и Лиза-швея проводит почему-то немало времени у детей, но с Лизой Александрина управится сама.

Наталья Николаевна заходила в детские по несколько раз в день, а если случалось заболеть кому из детей, проводила с больным немало время. Сейчас, слава богу, дети здоровы.

Александрина права — в детских много людей и немало шума. Фиска затевает со старшими веселые игры. Но веселье хорошо, и Маша меньше стала задумываться. Кормилицу не хотелось обижать, она так привязана к Ташеньке, и девочка без нее будет скучать, любит ее больше, чем нянюшку. А Лиза-швея... Наталья Николаевна давно проникла в ее чувства. Лизе-швее надобно видаться с Сашенькой, и Лиза в детской становится совсем другая Лиза. Как можно ее прогнать?

Наталье Николаевне всегда было трудно управлять слугами. Пушкин посмеивался над ее домашним правлением, говаривал, что она распускает своих подданных, что надобно ей занять характеру у одной из сестер. Но когда он сам брался исправлять положение, менялось оно ненадолго, он горячился, легко выходил из себя, уставал, и ей приходилось разбирать домашние сложности самой.

Сейчас ей стало казаться, что в детских ей лучше всего, и не от детей только, но именно от веселого, шумного многолюдства. И ничего менять в этом ей не хотелось. Она боялась вмешательства Александрины, не хотела его, а посему обещала сестре, что займется детскими в ближние дни.



Но тут все сложилось само собой и без всяких с ее стороны усилий.

Долгие обложные дожди кончились разом, ветер в одну ночь раздул тучи, прояснело, высыпали звезды на небо, а к утру выпал иней, столь обильный, что походило на снег. Приближалась зима.

С утра Наталья Николаевна призвала в детские Лизу-швею и вместе с ней и старшей нянюшкой устроила ревизию зимних вещей. Лиза принесла ворох шубок, рединготов, теплых панталон, капоров, шапок, муфт. Стали примеривать и увидели, что старшие из всего выросли, а младшие нуждались в новом платье, перейдя грань первого младенчества. Достали из сундуков сукна, меха, бархаты — разложили, разглядели, прикинули, кому что шить.

Дело оказывалось самонужнейшим — надо поспевать к зиме. Заняли рядом с детскими еще одну комнату, расположились в ней Лиза-швея и четыре девушки под ее началом. Лиза кроила, сметывала, примеривала, девушки шли в восемь рук.

Дети, насидевшись дома в сырую осеннюю стужу, с нетерпеньем ждали зимы. Дядя Митя обещал насыпать у дома большую горку, Фомка-казачок с дедом Потапычем ладили салазки-чуночки, Фиска заливалась-пела барчатам про зимние потехи.

Лиза-швея, прикидывая суконовую бекешку на Сашеньку, рассказывала, как на пруду возле берега уже катаются отчаянные мальчишки на деревянных коньках.

Саша не стоял, вертелся, ныл «жа-а-рко!». Наталья Николаевна сказала строго:

— Не дашь примеривать, Лиза сшить не успеет, мы без тебя кататься пойдем...

Саша ответил сердито:

— И не надо, я с Лизой потом пойду.

Лиза рассмеялась, быстро расколола булавки на переду, сняла чекменек.

Саша посмотрел на мать, добавил:

— Вместе будем кататься: с Лизой и с маменькой, — и взял их обеих за руки.

Женщины улыбнулись разом Сашиной доброте. Лиза сказала растроганная:

— Маменьке тоже ватерпруф сошьем тепленькой.

Наталья Николаевна стала вспоминать, что у нее на зиму есть, — выходило, что нет ничего, все ей теперь широко. Лиза сказала весело:

— А мы ушьем, а мы подправим да уделаем — как новое будет.

## ПЛАТЬЕ ТЕМНОГО МЕДУ

Наталья Николаевна

Вечером Наталья Николаевна молилась в углу перед иконами. Теплились, помаргивая, лампадки, огни отражались в киотах, в золотых и серебряных окладах, и все — настоящие, жаркие, и отсветные, холодные, — повторяясь в темных оконных стеклах, мерцали и множились. Наталье Николаевне казалось, что она в церкви, — так много было огней.

Она молилась долго, перебирая в памяти разные молитвы, и закончила словами: «Мирен сон и безмятежен даруй ми». Подняла голову и замерла: привиделся ей внезапно в ближнем окне сквозь мерцающие огни лик самой Скорбящей — великой красоты и великой печали лик.

Прильнувши к стеклу извне, обращен был скорбный лик и слухом и взором к ней. Наталья Николаевна смотрела в окно, замерев, не мигая, не решаясь вздохнуть, чтобы не спугнуть виденье. Но не выдержала, шевельнулась, и тут лик сдвинулся, склонился, повернулся, и поняла она, что видит всего лишь свое лицо.

В страхе перед мороком, перед обманом этим подумала: не дар, а наказанье господне ее красота. И тут же по-

тянуло еще разок взглянуть, но не позволила себе — опустила глаза, отошла в глубь комнаты.

Ночью приснилась она себе в платье цвета темного меду с золотым шитьем понизу, в том, что сшили в канун несчастного года. Платье это, как ни одно другое, шло к ее темным волосам, зеленовато-карим глазам, матовой коже с едва заметным нежным румянцем.

Такой именно — красивой, совсем то й — привиделась она себе во сне. Будто ходит она по большому залу с колоннами — пустому и почти темному. Горят лишь несколько восковых свечей в странном для этого места церковном паникадиле.

При их слабом и зыбком свете увидела она его, своего мужа. Пушкин шел в другом конце зала, то скрываясь за колоннами, то выходя на свет. Она хотела остановить его, позвать, но не могла — перехватило дыханье. Заторопилась перейти зал, чтобы достичь его, но, внезапно отяжелев, не шли ноги. А он все чаще исчезал в тени, все реже показывался. Теряя его из виду, в отчаянье заторопилась она, преодолевая слабость, как вдруг вспыхнули разом свечи в люстрах, грянула с хор музыка, и она оказалась в толпе танцующих. Ее толкали, кружили, не видя, не замечая. Мелькали лица, наряды, сверкали драгоценности, сливаясь в блестящие полосы и пятна. Тяжело, трудно пробиваясь сквозь это кружение, она двигалась через залу, но знала, что все кончено, — его уже не догнать, не найти.

Проснувшись Наталья Николаевна от страха, от сжатия в сердце и долго лежала с открытыми глазами, боясь заснуть и чувствуя, что сон может повториться.

Днем за обедом Наталья Николаевна спросила сестру:

— Александрина, ты не знаешь, где мое платье цвета темного меду?

— Атласное, miel foncé? — уточнила сестра — В большом сундуке, та сёге, Лиза положила его поверх остальных. Достать его, хочешь — я велю?

— Нет-нет.— Наталья Николаевна будто испугалась своего вопроса.— Я просто так, вспомнилось мне...

Александра Николаевна переглянулась с Елизаветой Егоровной, сдерживая улыбку. Обе подумали одно: Наташа начинает оживать.

Наталья Николаевна боялась страшного сна и вместе ждала, как загробной встречи. Сон повторялся в ту зиму несколько раз, чуть меняясь, но оставаясь таким же тревожным и мучительным. Всякий раз видела она покойного мужа вдалеке, но приблизиться к нему не могла — неизменно проходил он поодаль от нее, не глядя, и скрывался из глаз, прежде чем она успевала его настигнуть.

Подошло рождество Христово. В гончаровском доме отмечали его самым малым столом, семейно ходили в церковь, дома служили молебен, принимали лишь батюшку с причтом, деревенских с колядой не принимали.

Лиза и Фиска водили под присмотром Александры Николаевны старших детей на деревню посмотреть катанье с гор. Очень удивила всех тетя Азя: подобрав юбки, уселась она на салазки и съехала с высокой горы-ледянки с Машей на коленях и Фомкой-казачком на полозьях позади.

Слухи о том дошли до Елизаветы Егоровны, и она выказала мужу свое беспокойство: поведение золовки было эндесантно\* не только в рассуждении дворни, но и соседей, коим станет известно о сем странном развлечении. Впрочем, поездки Александрины в санях с каурым в упряжке, без кучера, также малоприличны.

Дмитрий Николаевич знал, что с того времени, как выпал глубокий снег, Александрина заменила верховые прогулки ездой в легких санях по дорогам и сама правила каурым жеребцом, застольвшимся и потому опасным. Но страх за сестру был все же не столь велик в Дмитрие Николаевиче, сколь его собственный страх перед Азей-ама-

---

\* Неприлично (от франц. indecente).

зонкой, и говорить с ней он не решился, попросив о том Натали.

Последствия разговора сестер были неожиданны, Александрина закутала Ташу поверх всего зимнего в пуховый оренбургский платок и, посадив в сани-козыречки, увезла с собой. Вернулась Натали с прогулки порозовевшая, обедала с аппетитом, Александрина посмеивалась, рассказывая за столом, как Таша визжала на поворотах, когда заносило сани.

Брат Дмитрий и Елизавета Егоровна слушали рассказ неодобрительно. Наталья Николаевна более с сестрой не ездила.

Наступил Новый год, и его тоже встретили не празднуя. Подходили скорбные дни — годовщина смерти Пушкина. Отслужили панихиды: в церкви — для всех, в доме — для господ, здешних и приезжих. Прибыли пемногие соседи, матушка Наталья Ивановна из Яропольца.

Наталья Николаевна хотела ехать на могилу к мужу в Святые Горы. Но как стояли в тот год особо крепкие суровые морозы, путь был долгий, а здоровье ее все еще слабое, родные отговорили.

В годовщину, в ночь на тридцатое, опять приснился ей тот сон, жестоко напугав постоянством возвращения, неизбежностью горя. Опять затосковав, стала Наталья Николаевна бродить по дому, как темная тень.

Как-то зашла она на антресоли к Пахомовне. Няньку старшего брата Наталья Николаевна любила с детства.

— Тяжело мне, нянюшка, — ответила она на вопрос Пахомовны о здоровье. — Сны меня тревожат.

И она рассказала няньке повторявшийся сон.

— А звал он тебя? Манил за собой? — спросила старая спокойно, как о самом простом деле. — Ну и ладно, коли не звал — долго жить будешь. А тоску твою, хочешь, сыму, хватит уж тебе убиваться, гляди-ко — вся извелась. Ты о детках подумай. Положи-ко головушку на руки, глазыньки прикрой; а я пошепчу над тобой.

Наталья Николаевна покорно опустила голову на сложенные руки, закрыла глаза.

Пахомовна положила ей на затылок теплую ладонь и заговорила тихо, напевно:

— Тоскую я, сера утица, по своему сударю по селезю... Я все глазыньки повыплакала, землю-травушку слезами повымыла. Ты уйди, уйди, горюшко, не тумань головушку, не томи сердечушко... Обсушусь я на ясном солнышке, отряхну серы перушки, полечу к малым детушкам... Они пить-есть просят, меня матушку кличут, я теперь одна им кормилица, одна я за их заступница...

Пахомовна говорила все тише и тише, уже и слов разобрать было нельзя, и смолкла.

Наталья Николаевна дышала ровпо, спокойно — она спала.

## НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО

Павел Воинович Нащокин

Друг мой доброй, сердечной, когда ты женился, мне думалось, я тебя потерял навсегда. Представлялось мне, прощаясь, несуразное: будто ты умер и более не увидимся. Проводив вас с Натальей Николаевной в Петербург, я плакал, сидя в карете, как самая чувствительная барышня. Может, то было предчувствие глупого моего сердца, что суждено мне потерять тебя рано? А сейчас мнится мне — буду жить без тебя долгие пустые годы.

Получив страшное известие о твоей кончине, я слег в горячке. Да и теперь кажется, что не в своем уме. Составляю письмо к тебе — разве в уме я? А как не сочинять письма, хоть и не отошлешь теперь, как не говорить с тобой боле? Ты все перед моими глазами и перед ушами: и вижу и слышу тебя. Вот ходишь по комнате шибко, а я, байбак, лежу на оттоманке. Ты говоришь, я слушаю. У те-

бя глаза блестят и будто влажные, не от слез, а от интереса к предмету разговора нашего. Или вдруг остановился возле окна, загляделся на что или задумался внезапно, будто душой улетел. А я на тебя люблюсь, на складность твою и легкость.

Совсем оробел я от тоски и сердцем и головою. Вот ведь какую утеху придумал — говорить с покойником. Но как я живым тебя запомнил, а мертвым не видал, то ты все передо мною живой. Сидишь на оттоманке, ногу подогнул, меня слушаешь, как в последний приезд свой. Был ты тогда усталый, больше домоседничал, посиживал с трубочкой. Я говорю, а ты слушаешь, сам же смотришь задумчиво за меня куда-то, и не знаю, слышишь ли мои речи или уже не слышишь. Мне же боязно остановиться в рассказнях моих, чтобы, вдруг смолкнув, не вспугнуть тебя.

Вот до чего дошел я в своей тоске: чувствую, надобно мне и то сообщить, как ездил в Полотняный Завод навестить твою фамилию.

Первый раз, как они в Москве проездом были, я с Натальей Николаевной не увиделся, хоть и поскакал тотчас к ним на Никитскую. У нее тогда были припадки частые, и сестра не допустила к ней, боясь нашей встречи, говорила, может случиться полное расстройство нерв, глубокий обморок и даже потеря памяти — с ней бывало. И если повторится, то надобно им будет надолго прервать свой путь. Уехали они в Полотняный Завод, а я не поспел до бездорожья, а там и оно подошло, затем переживал Пасху, так и не собрался до полного тепла. Теперь побывал и как вернулся, то вновь затосковал страшно, думается, что и тронулся от сильной тоски.

В Полотняном Заводе все застал в цвету. Подъезжая к дому, думал, Друг мой, как тяжело переносить первую без тебя весну. Застал я всех здоровыми, только Наталья Николаевна похудала сильно. Как вошла в гостиную, где я ее ожидал, так и припала ко мне — не заплакала, а застонала, я же заплакал, и слезы пролились к ней на плечо.

Красота ее стала еще более небесная: не как ты говаривал — Мадонна, а лучше сказать по-русски — Скорбящая.

Знаю я, как и ты знаешь, что время ее вылечит, отойдет, оживеет она. Да и надо, надо, чтобы так было. Может, сердце ее исцелится, а мое, знаю, никогда. Ну и пусть исцелится, пусть живет, хоть и ревнует моя душа от этой мысли. Но не хоронить же ее, как фараонских жен, заживо.

Только — каково жить ей будет? Мнится, что худо. Покая ей не дадут. Люди ведь как? Чужую жизнь знают лучше своей, и в чужой душе и в чужих сундуках они лучше хозяева, чем в своих. Небось все ей грехи перечтут и счет выпишут. Да хоть и деньги взять: ты, может, и пять тысяч проиграл — тебе можно, а ей и пятьсот на наряды зачтут.

Боюсь, обвиноватят ее одну, одного виновного всегда легче найти, чем двух или трех. Схватят, кто поближе, а кто подальше, те спрячутся.

Все твоей бедной женке припомнят: на балы зачем ездила, зачем наряжалась, зачем мужчинам нравилась? А какие и попрекнут: зачем де стихи не писала, как твоя казанская немочка, или почему не была вострухой, как московские сестрицы, что ты ухаживал на Пресне, или не такой бонтон, как петербургская твоя умница, что ты ночью в дом проник на свиданье, а утресь едва выбрался.

Прости, Друг мой, что беседую с тобой в мерехлюндии, думаю черное или каркаю, как самый черный ворон-вещун. Сердце мое престранное и ум занятой — все как бы чувствую вперед, и хоть складно сказать не умею, но угадать могу. А то вот и складно: Наталья Николаевна, как жена твоя, славой твоей вознесена, но ею же и загублена будет.

А я ты знаешь как вас обоих люблю, и что она меня изо всех твоих друзей отметила — тоже знаешь, так мне горько за нее будет.



Совсем уж не знаю, что плету,— все у меня смешалось, прошедшее с будущим, как у самого плохого писакки.

А в глазах стоит все та же картина, что видел я постоянно годами разлуки нашей, вдали от тебя, и что просил тебя найти художника нарисовать: я точно с тобой в кабинете стою и молчу и жду, сам не знаю чего, ты перебираешь листы, Наталья Николаевна сидит за канвой.

Может, так оно и сбудется, когда свидимся все там, вдалеке? Утешусь надеждой. А посему не говорю прощай, а скажу тебе, Друг мой, до свидания.

## Содержание

Два слова о книге и о себе . . . . .	3
--------------------------------------	---

### I

Мальчик с голубыми глазами . . . . .	6
В начале жизни . . . . .	30
Бессарабский пленник . . . . .	44
В глуши лесов сосновых . . . . .	74
Портрет, подаренный другу . . . . .	101

### II

У Войпыча на мельнице . . . . .	140
Цвет темного меда . . . . .	169

*Наталья Владимировна  
Баранская*

**Портрет,  
подаренный  
другу**

*Редактор А. Г. Казакова  
Художник Б. Н. Осенчиков  
Художественный редактор И. В. Зарубина  
Технический редактор А. И. Сергеева  
Корректор Л. В. Берендюкова*

ИБ № 2184

Сдано в набор 12.02.82. Подписано к печати 10.09.82. М-17663.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Гарн. обычнов. нов.  
Печать высокая. Усл. печ. л. 9,80. Усл. кр.-отт. 10,24. Уч.-  
изд. л. 10,00. Тираж 50 000 экз. Заказ № 399. Цена 55 коп.  
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздата, 191023, Ленин-  
град, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени  
типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград.  
Фонтанка, 57.



